



Андрей Устинов

Король Эльфов

Книги I и II. Второе издание

18+

Андрей Устинов
Король эльфов. Книги
I и II. Второе издание

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55318593

SelfPub; 2020

Аннотация

Гаэль из далекой Франкии – еще подросток, выпускник духовного ордена. Визит в Метару, город покровительницы ордена, должен был завершить его взросление. Но потеряв в угаре праздника кошелек и опекуна, незадачливый пилигрим вынужден приспособливаться к заморским обычаям... Поневоле зачислен рекрутом в войска местного герцога, влюбившийся и потерявший любовь, Гаэль и не подозревает, что начинает путешествие длиною в жизнь. В оформлении обложки использованы фотографии манускрипта “Royal Armouries Ms. I.33” музея Royal Armouries на условиях некоммерческой лицензии (Non-Commercial Image License).

Содержание

Предисловие ко второму изданию	4
1	12
2	39
3	81
4	103
5	115
6	138
7	171
8	192
От автора	202

Предисловие ко второму изданию

Хотя в эпоху электронных книг многие обычаи неуместы, все же традиция требует предисловия к каждому переизданию.

И, пользуясь этим случаем, я благодарю тех читателей первой версии, кто долистал *читалку* до конца. И для тех, кому пришлось по душе, добавлю, что здесь не просто пририсовано сто эпитетов. Рассказ теперь от первого лица, что дало моему Гаэлю власть существовать как бы в двух временных пластах одновременно – тогда и теперь. И позволило роману быть (Гаэль сказал бы *бысть*) более рельефным.

Во-вторых, по опыту первого издания, я хочу извиниться перед читателями новыми. В книге, безусловно, будут эльфы. Но, возможно, это будут не *ваши* эльфы. Хотя, как люди взрослые, мы понимаем, что никаких эльфов не существует, а все же – многие ожидают именно Толкиеновских. Но здешние эльфы – больше похожи на кельтских друидов или ведических славян.

Жанр сей книги, безусловно, фэнтези. Но и тут требуется пояснение. Моя идея была в том, чтобы выказать (да-да! не показать, а именно выказать!) значимую разницу в мироощущении – нас сегодняшних и обывателя средних веков. Скажем, мы летим из Москвы в LA на каникулы, и наши шансы вовремя вернуться назад весьма высоки. Не то рань-

ше – нельзя было быть уверенным даже в возвращении с ярмарки в соседнем селе. В 21-ом веке мы в значительной степени управляем нашей жизнью, но в 8-ом веке события управляли людьми. И только единицы, которых история позже возвеличила, могли судьбу изменить.

Затем – замечали ли вы, как нележки в чтении старорусские или староанглийские тексты? Как много лишних глагольных форм, как много тяжелых оборотов? Мы нынче летим по жизни, мы предпочитаем легкий слог, но человек прошлого сражался с жизнью, извечно перепахивая свой надел, и не отсюда ли мудреность заклинаний, находимых в рукописях алхимиков? Как будто сама вескость сих конструкций должна была выдержать века и скепсис потомков? И как прикажете погружаться в эту реальность? Местами будет тяжело.

Затем – эта книга отмаркирована как “18+”. И не только из-за сражений и смертей... стояли действительно жестокие века, достаточно перечитать Данте. Парижские санкюлоты и русские крестьяне 17-го года – лишь пена на гребне тысячелетней истории смут, среди которых мы иногда находим героев.

Наконец – прошу (временно) простить некоторую несвязность повествования. Особенно при переходе на рассказ от первого лица – это лишь следствие возраста Гаэля. Кто из нас мог написать изложение в школе на уровне Льва Толстого? И все же – Гаэль будет постепенно мужать, от книги к

книге, и речь его должна вскорости стать более взрослой.

Итак – почему же фэнтези? Потому же, почему, бегом от превратностей судьбы, спешили филистеры всех времен со времен Хаммурапи и Рима на сбивчивое представление гастролирующих актеров, спешили в *таберну* послушать заезжего кутилу. Потому что кому нужны сухие проповеди? Потому что именно в жизни, полной несчастий и грязи, хочется предаваться сказке, неумеренному восторгу и волшебству.

Король эльфов. Книги I и

II

Я здорово напился в тот вечер.

Так беззаботно и бесшабашно напиваются только в юности: девицы кружились и хихикали вокруг, даже жались тесно и лобызались, умоляя позолотить ручку. И если бы спросили меня тогда: да, именно в этом и крылось счастье!

Даже сегодня, оглядываясь с вершины лет на безусого юнца, булькающего черным пивом и хохочущего над собой, я не могу сдержать улыбку. Какой красочный сгусток движений и эмоций, какой хмельной захлёб и ни капли горького ума! Но теперь я ведаю будущее. Я вижу ночь, будто бы стеснившуюся вокруг таверны, потому что блеклая, трепетно-нервная цепочка факелов вдоль мощеного переулка прерывалась здесь. И вижу темные закусья у косоного палисада, небрежно посеребренные луной... и тень лайфера, мнущегося под угрюмой перепрелой липой, ждущего перевернуть мою жизнь.

Судьба короны зависит иногда от пустяка. Так говорят эдды, так говорят люди. Но люди не ведают, что случайностей не существует. Что большинство из нас – лишь смешные марионетки, послушные паутине судьбы.

Пожалуй, придвинусь ближе... как же звали этого безыменного лайфера? Ах, наверняка и вы вздрагивали иножды (брр! что за слово!) среди ночи и дня, как будто кто-то незримый дышит за плечом? Как будто подходит плотней, выпрашивая ваше имя?

Теперь я слышу его тайное дыхание, клубящееся в прохладном эфире, – его звали Джеб. Забавно, столько годин спустя, наконец познакомиться с виновником собственных приключений. О, да! Он рос и жил неприметным окаянником-лайфером и судьба редко баловала его. Но в эту ночь – ночь равноденствия! ночь Мабона! – Джеб-молодец чувял редкую удачу, горячащую кровь и заставляющую дышать прерывней, переступать и шуршать мертвой листвой. Неизвестно, какая из вечных норн вдохновляла его, кривляясь и хихикая над блестящими спицами, но, по крайней мере, его имя внесено в Книгу.

Что же! Присаживайтесь, дорогие лицеисты Коголана! Присаживайтесь, будто уличные зрители, привлеченные актерским выкриком с подмосток. Мне ли не знать, как мы и сами ценили уличных рассказчиков, сбегая с вечерних молитв? Помните ли транскрипцию:

Denique caelesti sumus omnes semine oriundi

omnibus ille idem pater est, und alma liquentis
umoris guttas mater cum terra recepit

Мы все произошли от этого небесного семени, у
всех нас есть один и тот же отец, от которого земля,
питающая мать, получает капли жидкой влаги.

О, я помню все, как будто вчера: мы смеемся и шлепаем
сандалетами вниз по широким потертым ступеням туда, к
рыночной жизни, к узким переулкам любви, но я оглядыва-
юсь минутно: и будто сама Alma Mater Metara добродушно
взирает с вечного пьедестала нам вслед, пересчитывая наши
пятки. Ибо жизнь и есть мистерия. Ибо кто в наши дни ра-
зумеет эдные мистерии, кроме служителей Глаха?

*Тяжелые двери трактира распахнулись со вздохом и вы-
плеснули в ночь все чохом – эдакий сбитень из переменчивого
жара и духа печеного мяса, хруста глиняных черепков и виз-
га угорелых прислужниц, да гортанного смеха постояльцев,
сбравшихся до ветру...*

*Их было двое. У рыжего крепьшиа, мнущегося у косяка,
по завиткам бороды искорками скакали отблески огня, да
и дверная половица будто плясала-потрескивала под нога-
ми, так что напоминал он отскочившее от очага тлеющее
полено. А второй, молодой, – полусогнувшись, бледным пят-
ном проишмыгнувший мимо рыжего, качал теперь белесой
макушкой над купюю лещины – точь-в-точь призрак клад-
бищенский, страдающий над могилой.*

Джеб – лайфер, темная тень в темной тени, – встрепенулся, прищурился. Но лица юноши было не разобрать – даже лунный луч, что вырвался как по колдовству из тайной бойницы мрачной облачной башни, ступивался, будто ослепши, закружил наощупь около русоголового, едва цепляя, да тот еще, кряхтя, ниже засел в кусты.

– Псс-т! – ласково прошипел Джеб, неслышно распуская тесьму куртки, и тут же из-за откинутой полы, из особого мехового кармана высунулась, нюхая напитанный трактиром воздух, уродливая мордочка ушана. Бережно выпростав его из кармана на рукав и разбросив тряпицу-попонку, Джеб мягко подкинул серый комок вперед – тут же ушан распустил кожистые рукокрылья, в два беззвучных маха выправил полет и, в одной пяди скользнув от лица юнца, признательно заверещал, забиваясь под массивный водосток.

Да – именно эту парочку караулили лайфер и его мышь. Именно этого заморского молокососа, блеснувшего нынче денежкой на городском рынке – то-то, небось, пьют сейчас сладкий розовый мускат за его невинность ветреные кабацкие красотки. С ума свели недотепу, звонко хохоча: “ох, спаси меня Метара, достоинство-то пуце Глаха! потеши девушку, красавчик!..”. А рыжий чурбан – поставленный, можно коренной зуб дать, присматривать за мальчишкой – знай-сам накачивался на дармовицинку золотым метарским элем, мешая сорта и путаясь то с беляночкой, то с чернавкой, да подначивал недотепу начистить-таки девоч-

кам перышки в одном глахотайном месте – “ну ты не промахнись!..”.

– Ах, нечисть! – тем временем, взвизгнул петушком юнец, отмахиваясь от примеревившегося упыря. Угодил голой ляхой куда-то в склизкие заросли крапивы и еще запричитал в голос: – Ах, нечисть, ах, нечисть!

Рыжий тоже икнул испуганно: за спиной его маячили багровые тени, несся гогот как от тьщи чертей, а впереди, куда он зашагнул было, все омертвело под пепельным саваном повергнутой в облака Луны. Ничего этого рыжий, конечно, так тонко не переживал, все еще пребывая в золотом дурмане, но золото вдруг осело горечью на небе и – слишком громко, точно перекрикивая мертвящую тишину, – он кликнул дружка севшим, фальшивым голосом:

– Удобства-то с другого боку, мастер Гэль! Куда же вы в самую колючь?!

Рыжего Джеб убил сразу – еще тот досипывал фразу, еще выдудвал искристое облачко пара, словно хмельную душу, еще скрипела перепуганная половица под кожаным сапогом, а смерть уже расколола его висок темным зубрием уверенно брошенного кинжала. Сполох пьяного смеха, выплеснувшийся из глубин трактира, кстати заглушил звук падения: слышен был только слабый шелест-хруст, как будто тлеющее в очаге полено таки подломилось. “Поделом же старому шаромыге”, – пробормотал Джеб с неожиданным чувством.

– Тебя бы, дядька, так прихватило, – отозвался звенящему еще в ночи вопросу рыжего ломающийся дискант: нотка бодрости, нотка обиды, нотка стыда – вся гамма подростковых эмоций. Затем раздались треск веток, шуриание и топотание, облегченный выдох, – исполать, мастер Гэль натянул-таки штаны. Вновь выглянула Луна, а за ней и белесая макушка опять беспечно заплясала над кустами...

“Гэль! Что за имя-то несуразное. Эх, молодо-зелено!” – покровительственно оскалился Джеб, звериными шагами-прыжками подбираясь к темной купе. И еще ухмыльнулся, по-доброму потчужа затылок недоросля каленым кастетом: – “Чай, до свадьбы заживет!”.

1

Наперво мне снились тишина и темнота, в которых я плавал и ворочался, аки нерожденный. Позже привиделось, и весьма явственно, что кто-то упорно светит в глаза огромным оранжевым фонарем, бьет что есть мочи по лицу огромными же – пожалуй, с парадную тарелку! – холодными ладонями и кричит пронзительным голосом, поминая весь небесный пантеон: “Вставай! Бодрись!”...

Неужели продрых молитву в ликейоне? Я поспешно размежил веки...

Вот чудеса! Меня отчаянно хлестал по щекам плосколицый веснушчатый малец с голубыми глазами по восемь сегов, истово бубнящий церковный чин:

– Поднимайтесь, сударь. Пожалуйста, поднимайтесь! Во имя Голоха, защитника нашего, и супруги его Метары...

Лучи солнца, которое таилось за затылком парня, обрисовывали вокруг его головы нечто вроде нимба божественного присутствия, точно Метара и впрямь проявила легкий интерес к происходящему.

Ах, не ликейон! Но, видимо, каникулярный день? Все это меня изрядно веселило. Я пребывал в чудеснейшем состоянии, какое бывает лишь в детстве: когда сам ты практически невесом и легко паришь по окружающей действительности, удивляясь любому ее цветку. Я с удовольствием отме-

тил, что веснушчатый мальчишка (мы таких дразнили *ряб-чишками*) ведет себя недостойно, весьма несдержанно, и вот-вот разноеся в ручей, тогда как сам я наконец-то абсолютно собран, спокоен и ах как великодушен. Мысли мои были столь быстры и пронизательны, вы не поверите, что я заранее улыбался еще не сказанному каламбуру. Мальчишка просит привстать? Стоило ли отказывать малому в столь малой просьбе? Ахаха! Тут я со снисходительным интересом отметил, что не совсем помню, как же это делается, и мир перевернулся: солнце с головою зарылось в лопухи и разби-лось в росную россыпь.

Второй раз я очнулся в некоем трактире, впрочем, вполне требном, – судя по помпезному очагу из грубых камней в центре и ломаному полукругу длинных, изъязвленных кин-жалами деревянных прилавков. И сейчас же яркое воспоми-нание-видение затрепетало в голове, подобно мотылю, пробужденному ото сна. Представлялось, как гудит-беснуется в очаге окованный камнем огонь, как камни сии раскаляются докрасна и яро шипят, если горластый шутник нет да и плес-нет на них остатки горького эля из кружки, как слюдяные оконца отражают сию краснотищу и жар обратно в пивной зал, так что разогретые едоки, вовсе дуряя, пускаются вокруг очага топтать плясовую. Да! А в очаге – грубо нарубленные вязовые сучья той-дело встрескивались, дрожа... будто всяк из них, оберегая закопчённый бок, норовил трусливо отбиться в угол, но трактирщик-погонщик небрежными тычками

мыкал их обратно. Но *щас* зал был пуст и выстужен, слюдяные оконца блекали тускло, а прямо в очаге, выгребая золу чуть не сопаткой, орудовал давешний плосколицый мальй.

Тут из-за шишки очага донесся какой-то шур-шур, всплеск сладкого смеха, и милая румяница выбежала ко мне с медным тазиком парной воды:

– Позвольте, сударь, промыть вашу рану?

– Мерсі, мерсі... Чем имею честь? Что же?.. – Я вскинулся было вопросничать, но комната как будто закружилась вокруг ее ясного личика. Я не совсем понимал, что происходит, но девчушка мне с ходу приглянулась.

– Но сударь, ваша рана, такая беда! Изволите ли минутно пригнуться? – Ах, она была вся в прелестном женском нетерпении, вылитая моя сестрица! Знаете: стоит той вбить какую-то заботу в кудрявую головку, и серчать бессмысленно, ведь любые резонации кажутся ей ничтожными!

Тут по-прежнему крылась большая неясность – что жестряслось и с кем, что за пустые отговорки? И крутился на языке не менее животрепещущий вопрос: с кем-то гризетка-плутовка там обжималась? Но пришлось кивнуть ей с дворянским небрежением и, подложив под занывший лоб руки, упереться губами в пахнувший сладким элем стол, пока прислужница мягко ерошила мне затылок теплыми пальцами. То она щекотала шею оборками тонкой холстяной робы, то, сквозь робу, касалась плеча твердеющим соском – это сбивало с мысли не хуже пинты темного! – но едва я разне-

жился мечтами, как, глухо ворча, явился сам трактирщик – долгопалый бородач, способный уморить не одну райскую птичку одним кислым дыханием. И моя, конечно, немедля упорхнула!

Трактирщик же оказался обрядником, что было видно по его пестрому хитону. Пестрому не цветом, но обилием тщательно вышитых синей нитью сцен, по всем двенадцати деяниям! Есть же такая безобидная заморская секта, мне ли не знать, в ликейоне на богоправии нас мучали ими целый семестр. Вот и трактирщик был нуден и несносен, утомил меня совершенно. К тому же, зудействовал таким покровительственным тоном, которого даже наш декан себе не позволял, да еще для выразительности прищелкивал сухими пальцами:

– Извольте ли чувствовать улучшение, мой сударь? Разумеется, я немедля выслал мальчонку за стражеским дозором... ну бишь, когда заметили эка поддувает в бочину. И вашенского рыжего компаньона утележили еще тепленьким, так сказать, уж поверьте мне. Или, печальнее сказать, уже тепленьким. Кхм. Наше вам сочувствие и молитва! Но беда-с, что по тьме-то за орешник и не глянули, где вы, так сказать, столовались...

– Ради Глаха, сударь! – воскликнул я раздосадованно, ничего не понимая в его болтовне. – По-вашему, я белка? – Замечание мне показалось весьма смешным, и я даже скорчил беличью морду, но трактирщик стушевался, всплескивая руками:

– Я же от чистого сердца желаю помочь молодому сударю. Ибо, ежели нет авуаров в купеческом доме, то ведь обнесли дочиста!

– Да какому молодому сударю? – я схватил уже трактирщика за пестрый рукав, пытаясь встряхнуть, да куда там! Глаза его... глаза его в тусклом свете будто закатились и желтели одними белками. – Вы мне ли? Я не брезжусь с торгашами! Эй вы! Послушайте, вы прямо как рыночная гадалка, которая не остановится тордычать, не закончив пророчества!

Я не знал плакать или смеяться. Но трактирщик, как и все обрядники, шуток не принимал и продолжил сердито:

– Потому что куда теперь молодому сударю? Куда же? – ах, кажется, он и впрямь тщился докудахтать заявленную речь? Это я легко мог себе представить. Небось, заранее тренировал аргументы на кухарке, потому-то постоянно и сбивался на третье лицо? Так и dokonчил с ревностным нажимом голоса и еще раз прищелкиванием перстов: – Но ибо емь искренний *скрижальный* человек, то готов приютить и по дому как раз бы временный помощник...

Ах! Верно ли я понял сего наглеца, каждое второе слово сдабривавшего тухлой отрыжкой?

– Послушайте, сеньор святоша! Что-то вы расщелкались! Позвольте мне, как говаривала моя почтенная кормилица, сложить мысли в пучок и без обиняков их вам разжевать! – я привстал с любезной улыбкой, опираясь на пошатнувшийся

прилавок... Да и комната будто закружилась, сводя с ума, но не праздновать же труса? Я высказался, медленно разжевывая слова, точно скармливая их, посчетно, тугому борову:

– Я дво-ря-нин!

Ай да обиняк! Твердые слова будто бы и миру вернули твердость. Трактирщик, понятно, залезбезил, дыхая мне прямо в лицо еще новыми дурными ароматами:

– Да не обиделся бы мастер Гаэл, да верно ли мастер Гаэл хорошо себя чувствует?

Да не объелся ли он сам, с утра-то, квашеной капустцы?! Ей-ей, о ком он все талдычит? Я все-таки не совсем его понимал. Пусть-ка сам разбирается со своими постоянными собутыльниками! Пришлось выразиться еще прямее, в расчете на прямую извилину собеседника. И пресмешно же вышло:

– Сударь, отобедать с вами я не смею! Благодарю! Дела-с!

Верно кажут – простолюдие страсть как любит, чтобы его величали сударем. И мошенник эка заважничал, зафамильярничал – бросил торжественно, свысока бороды, даже не слишком расходуя отрыжку:

– Ну, ступайте, ступайте, высокий сударь. Было бы предложено, долг мой исполнен, и от души! Дай Голох здоровья!

Ах, я даже не стал тратить на него последнее слово! В ликейоне меня высекли бы за подобный диспут, но каникулы же? И легко – наконец на чистый воздух! – выскочил было, да чертовы дверные створы оказались лишку тяжелы для моей легкости. Но с подмогой подскочившего плосколицего...

Солнечные лучи едва не пожгли очи. Я прикрылся ладошей. В ушах звенели голоса. Почудилось, что, отражаясь от закопченных оконцев, от мутных ночных луж, все политические новости, все местечковые сплетни превращались в пытливые искорки света, мельтешащие перед слезящими глазами... Постепенно зрение прояснилось: да что же это? Чуть ли не зеленокожие химы, которыми кормилицы пугают детей, просеменили мимо, разноречиво горлоча. Или солнце отпустило еще одну цветастую шутку? Порывшись в тайном кармашке куртки – пусто! кажется, надлежало бы кинуть плосколицему службе хоть зазеленелую медяшку, эх! – я панибратски буркнул *merci*, неуверенно махнул рукой и, перезапнувшись раз-другой, обнаружил себя в середине бурлящей улицы. Так вот, увлекаемый водоворотами квартальных интриг (вздорных соседских склок, приветствий с размашистыми хлопками по плечам да тычками в бока – да вы знаете, каково бывает, тут и к обеду до угла не доклячишь) я побрел, полный зевака, незнамо куда, незнамо зачем. На каких-то горелых развалинах стайка плохо одетых и чумазых уже ребятишек пыталась играть в прятки, рассчитываясь. На сохранившейся чудом штукатурке кто-то уже начиркал углем неприличное *граффито*... Ах, почему и весь мир казался мне карикатурой? Кажется, я действительно был чем-то болен? Но не возвращаться же к трактирщику поваренком?! Так я и побрел, потерянно твердя под нос только что подслушанную детскую считалку: “Это город, в нем живут герцог,

стражник, баламут, лекарь, пекарь, поп и плут. Кто в нем я, что я за люд?”.

Вывеска гласила так: “Эл и Пирси”. Буквы были важные: золоченые, с завитушками и оттенением, так что необученный долго бы шлепал бестолково губами, напрягал морщиной лоб и выскребал перхоть из затылка, не в силах понять их склада. Дальше разъяснялось: “Робы и Хламиды. Кафтаны и Камзолы. Прочее”. И здесь тоже крылся расчет на господ с изыском: каждая литера рядилась в соответственные миниатюрные одежды – все *робы* обернулись куртуазно в розовые полупрозрачные платица, а семеро *камзолов* натянули блестящие, иссиня-черные мундиры. Низ вывески украшали заманные иллюстрации грядущей жизни клиентов; тщательнейше, до последней нитки выписанные костюмы, посыпанные при росписи слюдяной крошкой, дабы блеск их вовсе не мерк, полупрозрачные камушки, вкрапленные на места благородных камней в рисунке, – ох, буквально приворожили меня, прервав безвольное кружение по базару.

На центральной сценке богатый кровь-с-молоком кавалер любезничал со смущенной дебютанткой. И восхищала в таланте художника возможность мелкими деталями передать прохожему зеваке нечто нетленное – жизненную ауру сих неживых персонажей. Каким не ведающим слова “медь” достатком веяло от серебристого орнамента на вязаных гетрах

мужчины! А кованые металлические пуговицы на них вместо банальных тесемок?! И какой таящейся удалью осеняла хозяина фигурка ловчей птицы на церемонной придворной шапочке: пусть сокол смирён и обучен командам, пусть он пока в клобучке, но берегись, добыча! Ужо тебе!.. У девицы же в темную гладь волос под широкими полями плетеной шляпки, укрепленной позолоченными булавками, были вживлены художником еще некие игривые золотинки: угадай вот, то ли пустые искорки солнца, проскочившие сквозь соломку, то ли любовный пламень, как по соломе разгорающийся в дотоле бесстрастной девичьей душе? А ее теплая белая хламида, вдруг наполнившаяся нежно-зелеными переливами от заволновавшейся муравы?!

Но собственно лица были выписаны слабо – телесного цвета пятна, штрихи да полутени, – так что, мысленно воспарив из грязного дорожного прикида, я легко представил *там* себя. Щурясь на резком, вышибающем слезу ветру, я тщетно ловил ответный взгляд красотки: волнующиеся поля шляпки открывали только дольку щечки, на глазах розовеющую. От свежего ветра, от смущения ли? И еще манил узор на ее робе (и как доселе не разглядел?) – былинный алый пимпернель, вешний цветок, гнущийся стеблем на складках ткани, но вдруг процветший сквозь них, словно сквозь плен девичества, и обещающий... Что и кому? Ах, что за магия?

Но зычный голос какого-то базарного раскупчика вдруг полез мне в уши, размашисто расталкивая волшебные звуки

картины:

– Эй, деревенщина! Не разевай-ка зенки попусту! Ба, что я вижу? Стой! Раскрой ладушки – и я отсыплю-те десять монет за порты столь невиданного фасона! Гляди-ж-ка, а мечты твои наслюнявили тебе пригоршню блестящих левов! Откуда же ты, такой карасавчик? Кевлар? Не-е! – ах, я уже откровенно морщился от его криков. О Глаше! Он такожно выговаривал “не”, будто ржал вживую: – Не-е, те мужское достоинство меряют бахромой на лампасах и тебя, друже, они сочли бы природным скопцом! Ха-ха-ха! И ты не из Авенты, ясен гульфик, ибо тем лавласам твой грубый пенал натер бы всю промежность! Ха-ха-ха-ха-ха!

Поневоле причудился – чуть не за шеей! – эдакий торгошничек в пестром кафтане, потыкивающий сальным пальцем в раззявившегося на местные прикрасы бедолагу.

– Pardon, mademoiselle, – неловко расшаркавшись перед девой, политесно замершей в знак повиновенья, я живо обернулся: неужто товарищ по несчастью? Помочь ли? Но увиденное казалось еще одной фантазией. В какую же потустороннюю историю я попал?..

Дом с вывеской продолжался направо таким широким подиумом: дощатый щеластый настил под косым навесом, стланным выцветшей вихрастой соломой. Но опять с претензией – с перильцами и лавками вдоль них, позволявшими созерцать широченный цветастый половик в центре... Хотя, не такой уж и цветастый: длинная плешь свидетельствова-

ла о регулярно даваемых лицедействах. Но как и все утро шло наперекосяк, и тут все было наизнанку: на той авансцене, возвышенной над партером площади, двое актеров важничали за всю труппу, потешно изображая толстосумов разного настроения. Один – пузватый приземистый сударь в знатном кауром кафтане (не с железными пуговицами, ладно, но с костяными уж наверно!) – безлично пялился прямо на меня, поковыривая в зубах острой щепой и смачно сплевывая в партер, чуть не на сапоги, ей же ей! Второй же как раз – точная копия первого, но в кафтане более светлого колёра, – активно скоморошничал... Кажется, я и рот раскрыл аженно-саженно от изумления его искусством. Актер бегал судорожно вдоль противной стороны террасы, смешно спотыкаясь той-раз о малость недобитые до нуля клинья (я-то сходу заметил: доски-то свеженькие, еще перестилать их после усушки!), вздымал стало быть руки и вообще горнольствовал перед совершенно пустой аудиторией – ибо площадку снаружи покрывала мутная лужа с размятыми в грязь берегами. Прохожий поток, голохаясь и толкаясь, умело обтекал ее, издали косясь на вспотевшего оратора и ехидно лыбясь. Актер же – к чести его искусства – пустой грязной лужи и гнусных химских ухмылочек в упор не чуял, а только выражался с еще большим апломбом. Так что натурально чудилось: да где-то рядом он, тот бедолага, адресат послания, надо лишь оглядеться попристальнойей. Мнимый купчик меж тем, вобрав в легкие побольше воздуха (да еще за щеки при-

брав по довесочку – ну чистый торгаш! брависсимо!), продолжал – то возвышая голос в басы, то артистично снижая до мечтательной вкрадчивости, маня и ошеломляя:

– Ты ведь из-за Коголана, а? Из-за Коголана! Да, впечатлительный у вас там крой. Пополнить, что ль, мою коллекцию провинциальных прикидов? Ты же за десяток звонких левов вынешь се живую дамочку, раздетую пояре сей картинной красотки, да притом обученную особым манерам! Десять могучих львов за проношенные штаны, это ли не щедрость?! Не-е?! – О Глаше! Конец ли? Но актер перевдохнул и продолжил галоп: – Порты не стоят того, конечно, но что золото? Богатство не мальчика, но мужа нам знамо в чем, и твое-то немалое будет! Может, дело-таки в волшебном гульфике? Ха-ха-ха! Давай их сюда!

У меня уже цветасто мутилось в глазах и переливчато звенело в ушах от его похотливого крика. Что же, в самом деле, за уличный фарс и для кого играемый? Какие штаны, какие переодевательные маскарады? Голова моя горела, мысли смещались и путались друг за дружку: и красотка, где красотка?! Ах! – вот ее платье теряет ветер, блекнет, замирает заскорузлым пятном на вывеске, а цветок с груди вовсе исчез, будто и не прорастал. И что я намечтал! И все же – так торгашествовать, толковать о снятии штанов в присутствии придворной дебютантки? Мужланы!

– Э-э! Да ты того! Фьюить! – вот кто это сказал и кому, да еще с выразительным *фьюить* пальцем у виска? То ли тот

актер-пустозвон, то ли... сей вынырнувший откуда-то сбоку, чуть ли не из той пузырящейся лужи, подозрительный хлыщ-шпынарь, с тихим смешком потянувший меня за рукав (и что за несусветное панибратство опять? таковы ли местные манеры?) и чуть не силком усадивший с разгону на какую-то вонючую селедкой бочку... мерзость! мерзость! мерзость!

Так вот, полуприсев-полупритершись к низковатому бочонку, до того отсырелому, что отдаться ему всею задницей мое естество никак не хотело, хватанул я полные легкие маринадного дурмана и мир... свернулся вокруг меня во что-то вроде кокона. Ей-глаху, будто бочка вокруг селедки! Мерзость! И лишь собственные мои сапоги маячили понизу, трепыхаясь-переминаясь в мерцающей рыбной чешуей луже. И разум мой все пытался зацепиться за знакомые понятия, как за наживку: в левом-то сапоге сквозь трещинки в подошве уже сочилась вода – зябко! – а вон на правом суровая нить разошлась и размахрилась – неприятно! А тот добрый дружок, товарищ по несчастью, что завел меня, так сказать, в эти воды ради минутной отдышки, сам дрожа и прижимаясь ближе, чтобы быстрее вдвоем отогреться, все подбадривал вымученными хохмами, словно за леску вываживая обратно к миру живых слов и красок:

– ...приваряжили рисовальщика авентийца. Экая высокая краса вышла, приезжие все в ряд стоят и роты разевают! А у них и материалов-то таких нету. Шерстяные гетры – да где

видано? Вона одни суконные! Ты ему свой штанец не продавай, дюже знатный, – тут в поле зрения возникла грязная ладонь с обгрызленным ногтем, деловито пощупавшая материал поверху и даже приятельски влезшая в мой карман, чтоб оценить подкладку, – нешто передерет фасон и такой же ты сам у него еще купишь!..

– А Пирси-то опять облажался, опять глаза перепутал! А ты не знаешь?!.. – рука так неожиданно-дружески ткнула меня в сплетение, что даже икнулось и в глазах завечерело, но тут же мой приятель сообразил ошибку и быстрее-быстрее распустил мне пояс, кинулся тщетно растирать грудь, чтоб задышалось ровнее. – Дыши сюда!

И полился такой рассказ с чесночными придыханиями, что я диву давался: что за рассказчик! Али тоже из актеров? Али рассказ, заранее меряный для путников, чтобы пожертвовали стотинку? Но разум мой слабел с каждой фразой и даже ноги уже никакого холода не чувствовали. А слова лились и сливались в блестящий ручей сказочного бытия:

– Эл и Пирси... вышлепки от одной матери... ага!.. Голох знает ской лет назад. Бабы-соседки стой уж лет шушукают, что в пай к портوماстеру вошел-де ушлый купчик с базара... А муж-то с той радости начал поколачивать женку со всякой проданной хламиды. А как был он человек работающий, той гуленка вскоре и преставилась. А щенки точно выжились разные: крепыш-смолянец и верткий рыжеморыш... и в кого бы? – хех! И в манерах той же: Эл все прибирал-прилажи-

вал отцовы лоскутки, тачая кукловые кафтанцы, а Пирси все шастал по округе, выменивая у девонек местных (все им деревянные пупсов нянчить! нештоб взрослое ремесло освоить... хех) самое святое – златы нитки, знаешь ли, кои любы-девицы прянут в волос, чтобы суженому прынцу... хех... было чем приворотиться...

Но тут ласковый ручеек будто пересох и сбился на смутное бормотание (“так, тут нет”), расстроенный вздох (“что ли в дальнем”), а потом шпынарь, точно прощеваясь в крайнем дружеском порыве, навалился всем телом спереди, чуть меня не целуя, тыча в нос неухоженными усами и источая изо рта тот самый дурман селедки в чесноке. И тут-то меня аж проняло на ровном месте, – а подлинно люд ли это, а не сказочный *морской хват*, о коем тоже говаривала кормилица, что ловит рыбу *вниз*, водит кружевами до изнеможения и тянет на тёмно дно, пожирая с икрой и молоками? Трепыхаться, впрочем, не было мочи, и вражьи уста бесспросно протискивали мне в уши складную заманку:

– Но теперича-то наши братцы просто в дупель близняшки – глянь-ка! И то сказать, древним колдовством кровь себе перемешали. Экий чудный заговор заказали, от недоверия друг дружке, чтобы братовыми глазами подглядывать и пользоваться – о как! В четыре глаза дурачин стоеросовых ищут, иноземных и пришлых! Да ведь тут не гнилушки на пуговицы сверлить – вечно напортачат! Я же знаю, подмастерничал у них, тьфу! Еще и должен остался за науку! Вон

старшей зенки паялит на тебя, а младший знай долдонит – ну, умора! Пстой-ка...

– Тю, да ты уже пустой!.. – приятель мой будто облегченно выдохнул, хлопнул насмешливо мне по макушке и исчез. И ах! Будто сплюнули меня из смурного морока обратно в бесполезную жизнь. Вот и *хватю* не спозарился! И опять я сидел одинешенек на холодной бочке с ногами в склизкой луже, и народу вокруг – гиблый поток.

Бр-ррр!

Если по чесноку, я дюже замерз и не понимал ничегошеньки. Слова в голове кружились самые разные, буквально наперебой... О волшебниках-то слыхивал, да все по вечерним сказкам. А тут знамо-незнамо – живые вывески, говорливые химы, чернокнижие какое-то вдоль и поперек. И еще кормилица не одобрила бы, что болтаюсь по толпе, – того и глянь, заразишься ротозейными мыслями, и сам начнешь простолюдно лопотать. А дворянское отличие какое? Так и девиз отческий учит: *Non multa, sed multum!*

Так я немного приободрился, даже пошлепал сам себя по щекам, и побрел дальше: мимо рыбачьих таверн-шаланд – один покосившийся лабаз клонится, что поддатый штурман, на плечо другого, и рты-двери пораспахнуты, словно давая волю отрыжке... И самый воздух все более тяжелел и дышал селедкой, эдакой живорыпой селедкой, когда еще блещет боками и треплется охвостьем в полурваных сетках и, раз на

тыщу, милостью Лима, у коего (знамо!) водоросли вместо козлиной бороды, удаётся какой худышке, селедке-девчонке, высклизнуть в родную серость-хмурость, дабы заклясть родных и близких держаться далече от этих берегов (потому и рыбы меньше год от года – кормилица говорила)... Эх, что за страна-то?..

Уф!.. Высклизнул и сам наконец из трущоб, ан-то располудное солнце и шибануло по темечку тяжелым горячим лучом, будто вытапливая остатки разума. “Зри, куда прешь!” – кто-то да гаркнул мне в ухо и крепко приложил локтем о третью чакру, какой-то *матросня*, черный пахучий немореец с косицей и серьгой, и только... раз, два... пять биений сердца просчитав, задыхаясь еще гневом, сам-с-усам как налименьш необсохший, тогда-то и понял, что дикарище убе-рёг меня от ныряния с неогороженных мостков куда подальше – в свинцовую унылость, в гости к девчонкам-селедкам, давно оголодавшим по людским косточкам. Уф!..

Я был почти в порту, поодаль от разноперых-разнокра-сных кораблей. Легкий вихрь, абы чары наводя, трикратно встрепенул мне неприбранную шевелюру, просквозил до чи-ха, и предметы вокруг задрожали, размножились в пробитых слезой глазах, будто смеживаясь в единый вид со всей ленты своего повременья. Понаветру (так они, вроде ж, на море ка-жут?) за пару пролетов уже – зазеленелые валуны-окатыши и грязненький песок, дрожащий отчаянно под хлопочущей волной. И мертвый плавник, брезгливо отброшенный морем

на серый песок, чтобы согнать все грядущие века... Или – лучшая участь! – безымянный мастеровой в безымянный час обогреть чадом его свою лачужку и наскжет сыну сказку о Лиме. Ах, как знамо!

Ах... а слева! Мнется на канате водная стрекоза – красавица-шебека. Три невидимых паруса, усеченных триангла, убраны к реям, этакое трерукое чудо! А другое чудо ее – уложенные по борту карминные весла, готовые взметнуться храбро и плеснуть, без опаски тлена, по мертвой воде... А вона на корме, где лонжевались под солнцем зажиточные пассажиры, где по елейному их слову запрыживали к ним в ладоши доверчивые летучие рыбёши Неморья... и где-откуда, в серый туман, тоже замолодев глазами, как на русалий зов, истово мямля на древнеречь молитву-песнь, сиганул за леер старик боцман... ах, стоит будто дух его! Стоит кто-то, и глаза те же серые, как плещущая под тенью шебеки густая вода, только серьга золотая, качаясь, ворожит взор... ах, то шкипер! Скоро видать и ему в гости к Лиму (сам так приговаривал дцать раз).

Да, чудно быть на бережку да под твердым солнцем после сих морских недель, больно уж чересполосных погодой. И голос чей-то сверху – наше вам! таки приплыли, мастер Гэл! – режет память, аки светлый выплеск в свинцовой волне. И верно! Какой-то дядька вроде бы хлопал да хлопал давеча по плечу (по сию пору ноет), было ли так? Да-да! Приплясывая от радости и что-то неудержно, до распалубного

хохота *матросни*, сквернословя про горячих девок: приплыли, Гэль! Здесь было, не здесь? Кого-то зовут Гэль?..

Ах... О Глах Великий! Я как раз шагнул под мачту и упавшей тенью так будто и шибануло мне по макушке: Гаэль – это же я сам! Давеча, ах, сковыльнули мы с той шебеки, измученные Лимом сполна, прибывшие с дядькой... Тимоном? Пимомом? Как же звали родича? Шкипер с мертвыми глазами еще окстил нас сторожиться лайферов... Что за лайферов? И прибывшие куда? Ах, с вояжем совершеннолетия да в Метарову купель – моего совершеннолетия! И воспоминания нахлынули... будто стая чаек, перебивая друг друга, будто зеленые волны, каждая из которых первая спешила утянуть на дно...

Ах, что за лом в голове! И что за брызги скверных на вкус волн, плеснувших в лицо через солнечный луч? Но о чем рыдать, аки сестренка на выданье? Свадебный наряд не воро тишь! Зря ли те растрепицы (так положено) певают на кру чильном девичнике: и солнце чем ярче, тем гуще тьма...

Вот так вот я и оказался в Метаре.

А прочие злоключения того дня – все почти забыл. Так бывает, ежели очи застит темь, чувства притуплены, будто и нет тебя, но тело как-то шевелится, бесцельно еще движется, ибо не было команды остановиться, да и где остановиться? И в памяти потом – не яркие краски юности, а сухие остатки, как бы монотонный старческий пересказ со стороны.

Но все же... к чему лукавить? Я мог бы теперь шагнуть в ведический транс, легче легкого мог бы вычестить всё, что тогда отразили очи, до прозрачного рисунка на облаке, до тараканьего следа на липком фруктовом прилавке, до подрагивающей невесомым волоском бородавки на лице торговца. Но я предпочитаю помнить так, как помнил. *Non multa, sed multum!* Я предпочитаю смотреть со стороны – и помнить того испуганного паренька, а не зиллионы прохожих во цвете их лет. И потому также не передаю большинства разговоров, все эти подмигивания и подшмаргивания... потому что нет в них знания, а только базарные крики. А чему вас, любезные собратья, учат в родном ликейоне? Что слово есть смысл! И потому вот вам я: беспомощное существо по прозвищу Гаэль Франк, эдакое чучело вдали от родных полей – в незнакомой стране... Полезно иногда смотреться в зеркало времени!

Базар. Некий торговец (другой) подталкивает соседа локтем – вроде видели *хорохорищика* вчера и спорили, скоро ль обдерут/замочат. Хочет хоть курткой поживиться успеть, – опять бо штанная история, опять разжиться заморским образцом? Гаэль (это я) от предложения торговца шарахается, как от гадкого прокаженного. Улица толкает его в порт. Бредет совершенно бессмысленно: ах, да и мог бы попытаться продать куртку, сапоги, наняться матросом – вон их сколько – но нет, это одежда дворянина, ее продать нельзя. Нельзя...

Идет за какими-то торговцами к рынку мимо храмов – безразлично. Мимо рынка рабов/рабынь – безразлично (тор-

гуют молодку-красотку).

Бродит по рынку, воображает троллевые пиршества этими кучами еды. Приступ голода до рези – ищет того торговца-острослова, да уже тью-тью, другой предлагает меньше – Гаэль отказывается. Снова бродит, глотая слюну. Птичий рынок – гномы-фокусники, представление Аристофена (так кричит зазывала-деревенщина, неверно ударяя в бубен), гоблины – дикие звери в клетках. Чуть не одуревает от вони – в изобилии домашние ушаны, приученные к хозяйской руке, листоклювы, мирные фруктоеды и вампиры-кровососы – для защиты крова. Кружит, притягается к рынку неизбежно, те же запахи еды, все те же лужи-помои, все те же гномы пыжатыся, те же гоблины воют в клетях. Примеряется тырнуть хоть корку, да боится – видел, что стражники сладостно мутузили кого-то.

Эйфе с яблоком (делится – не дарит, а именно делится). Ах, Эйфе! На рынке она ждет отца у здания – выбегла из здания на крыльцо (хотя велели не теряться), грызет яблоко... Эйфе – кличет ее няня-компаньонка – и имя западает в память. Белокурая нимфа, потому что в зеленом. Чем-то напоминает девчушку из трактира – тем же эманатом свежести, точно они сёстры (хотя этого не может быть, но так кажется и это немножко вгоняет в раздумье). Тоже нарядная, но ясная дворянка, это как осенний и весенний дни – тоже дни. Ах, что за философия! Долго мнетса вокруг нее, потом ее находит-уводит няня, подозрительно косясь на Гэля – что

он от вас терся, госпожа?

И откуда-то струится чистый воздух: нет, я дворянин, лучше я сдохну, чем буду просить милостыню у сих смердов!

Дальше опять калейдоскоп кадров из чьей-то (ах, его! моей!) жизни. Опять остролов – ты хотел продать? Ха! Продать – и день прожить как смерд? Вот ты назойливая муха! А торговец его колотит палкой. Убегает, краснея от стыда, падая на лотки, обдирая ладони, и по-детски голохясь. Опять подъем – бежит к Эйфе, станет у ее отца/родителей просить приюта – уже ее нет. Пытается то вникнуть в здание бахвальством (я ее друг), то тайком – его взащей, как челядь (да тебе парадного крыльца много – через черный выход в кучу грязи – ха-ха!). Бежит к другому храму. А во Глаховом храме на ступеньках хилые нищие – лезут и льнут к нему, противные руки шарят по ослабевшему телу. А забрать-то нечего – опять проклятья. И опять бежит истошно, пока испуг. Шатаясь, плетется дальше.

Вечереет. Видит подвыпивших стражников, выбряцавшихся из кабака. Тусклый просвет в сознании – они вернут, вернут! Плетется за ними, за горько-дымными факелами их – боится, больно ражие и недобро гутуют меж собой. Мир сужается до пляшущего факельного круга – ничего не замечает, толчки-пинки, боится утеряться в лабиринте трухлявых лабазов. А те на плацевом пригорке встречают начальника стражи (это явно по разговору) – вид добротный. Гэль подвигается ближе, ждет-дрожит, сглатывая слюну; да тот так

по-черному вдруг взъелся на *долбоносов*, что Гэль прирастет к земле, пробует отпятиться... запнулся, да и в лужу. Ох же, мать твою Метару! И тут черный взгляд начальника падает на лицо Гэля – какразно... какразенно... под факелом. И с факела искры, как мотыльки, слетаются к нему – красивые! Но почему жгутся...

Ах, Глаше! Эйфе – ах, кто такая Эйфе? Какой божественной искрой вспыхнула она тогда из провала моей памяти, спасая меня, и как наново вспыхивает сейчас! И не смутной тенью, а живой девчонкой-нимфой, посланницей живых богов...

Ступени были косые, щербатые. Но столько древние, что их косость (или костость?) уже стала местной привычкой, вкопавшейся в землю. Когда-то, на заре летописных времен (на углах выбиты чудные руны – да не прочтешь!) – из парадного красного туфа, но давно обыденные от грязи, и все же храмовые, сиречь, не принадлежащие никому особо, кто возжелал бы испнуть меня по пустой прихоти. В гладких бязинах, вытертых босыми пятками, и в звездчатых выколках от лирийских длинных шпор (ах, у дяди были дома такие, дурацкая мода!) копила вода – в одной я вяло заметил водомерку: как и ваш покорный слуга, комарик пристал тут на перепой – передохнуть. Ах-ха! Да и где же еще водомерке воду пить, как не у Метаровой Купели! Где богиня купалась однажды в незапятанные времена и где был ее ореховый ша-

лаш, а теперь храм возвышенный в ее честь...

Но по порядку. Сам я только что притомился откель-то и узнал наперво те желанные ступени – смутная иллюстрация из школьных скрижалей! И потом, усевши уже, уже ерзя (шершавы больно!), начал удивляться – ведь не рыночный домик, это храм! Но не Голоха (голоховский уже проходил сто раз, там все приступы были в калеках и нищих, облепивших белесые ступни портала... живое покрывало клопов!), а некой неизвестной секты. Но как будто – ах, дыхание богов почуял, и закружилась голова, и почудилось... На тяжелой дубовой двери – мастеровитое тиснение, дерево жизни, точное до малейшей тени на листках, бегущей за солнцем, и до прозрачных крыл порхающих мотылевых фей – как возможно?! Дерево будто вздрогнуло от моего взгляда и тотчас же в левой створе раскрылась *таинка* и оттоль, сама как мотылька, торопящая превращение, выпорхнула малая девчушка, чуть жмурясь на солнце. Сама беляночка, но с вплетенной в косу зеленой лентой, и в зеленом же плотном плащеце и дивных травяных сандалетках – выбежала, беззаботно кусая яркое яблоко, и плюхнулась на ступеньку рядом со мной. Куснула еще раз, норовя захватить побольше, и вдруг протянула сочный остаток мне:

– Держи, а то ты сам шатучий. Я тебя увидела в глазок. Они там пока кисель разводят. Меня зовут Эйфе.

– M-merci, mademoiselle, – я покраснел, но схватился за яблоко, как за Плод Жажды из сказаний, жадно заторопился

обкусать со всех сторон, закашлялся, разгораясь от стыда... заметил на ее перстневом пальчике колечко с хризолитом, не простушка! – M-merci, p-pardon. Гаэль Франк к вашим услугам. – И вскочил, и неловко поклонился, чуть не поскользнувшись о того водомерку в мелкой лужице. – P-pardon, – опять законфузился, что сок потешно пузырится на губах (уф, как простолюду, право!)... отважился блеснуть риторикой: – Не хотел лишать жизни сие малое создание!

– Ты смешной, – прыснула Эйфе, но затем доверительно тягая за рукав: – Мне нельзя чавкать, но ты жевай. Они скоро придут за мной.

– А что, – спросил я сквозь слащавую кашницу во рту, – за храм-то это? Некой вестницы? – Что храм какой-то божицы, не сугубо мужий, я догадался сам, раз Эйфе в праздном уборе... И даже предполагал, что Метаров и есть, цель паломничества моего, но кто знает? – И что за руны те, ты научена?

– Это Дом Феи, – Эйфе зажмурилась, заклоняясь столь, что зеленый бантик поцеловал лужицу назад... подставляя личико солнцу. – Смотри на мои глаза. – Она вдруг отважно распахнула их встречу свету, на вздохе я увидел их цвет: темно-коричневый... нет, вдруг разделился на кармин и кобальт, и дальше всеми соцветьями радуги... как у кошки, зрачки сжались в малюсные точки и остались только пылающие радужки.

– Видишь, – она пригнулась к дрожащим коленкам, про-

тирая глаза, – я тоже их принцесса, но дальняя. Фея – это или королева эльфов, или принцесса. Это наше родословие там на двери. А руны те – имена бывших и будущих королев. Которое нынешнее – ты погляди, щурясь, оно крупнее мерцает.

– Постой-постой, – схватился я. – Я, понятно, к волшебствам приучен, но как же будущих?

– Я не знаю, – Эйфе чуть не плакала уже. – Я не королева и никогда не буду. Следующую будут звать Эль, так говорят звонкие руны. Но она еще не соткалась из воздуха и теней, и волхвы не знают где, они гадают каждый за свою ветвь, а какой смысл, если буду не я. Дай яблоко!

Я опешил опять (что за тюфяк!), но послушно отдал ей огрызок, голый уже до сердечка. Эйфе быстро, как одержимая духом, затолкала его в рот, раскусила так, что обе щечки раздулись, будто жвала... язычком вытолкнула на ладошку большое коричневое зерно, остальное плюнула сердито на сторону:

– Держи, – снова она была забавной беляночкой, разоде-той к празднику, доброй к несчастному прохожему всей душой, готовой забесплатно открыть самый детский секрет: – Ты проглоти сейчас! Это судьба! – Ну что за лепет? Но Эйфе втиснула семечко мне в кулак, еще мокрый от яблочного сока, и вскочила. Нет – вспорхнула сразу на две ступени, переполоша несчастного водомерку, оставив мне только ветер и тающий яблонный аромат, да еще раскушенную горечь на

заднем зубе.

За ней пришли.

Так вот я бредил! И в таком был мальчишеском счастье, что толчки и тычки реального мира даже не чуял. До того, что стражники, небрежно преклонившие надо мной свои чадилки, даже щеку мне безбородую закапавшие горячей смолой (аж до шрама!), даже замешкались.

И, ей-глаху говорю вам, я смеялся, слыша их разговоры! Мол, и одет-то как дворянчик, и лицо-то засветилось аж ярче, чем их факела... не, не ярче, а как-то, что ль, благодатнее. Словами-то и выразить не знали, и переминались в чудном онеменении (звать ли уж *тихаря?*), пока облаженный не перестал улыбаться.

А я – просто в какой-то момент перестал их видеть. Просто как будто на небо воспрял – в Асгардовы пределы, где вечное древо жизни высится еще в занебесье, в самом богам неведомые пределы.

2

В рыцарских хрониках, до которых в ликейоне я был большой охотник, всегда все оканчивается за здоровье молодых. Эх! Хорошо помню, когда инфлюэнца гуляла по Коголану, мы были лишены учебы и выходных, и сбегал из душного дормантория в библиотеку... шкафы-армуары знал уже на зубок и бежал к нужному, доставал очередной том, тут же раскладывался на полу под скупым окном, распуская сопли, и воображал себя героем в серебряных доспехах. Хах! И одолел не больше трети, всегда заглядывал в конец... Забегу и я вперед, чтобы вы не сильно тужили о моей участи. Жизнь не целомудренная книга, много и грязи беспутной, но все же я выжил в Метаре и даже, до поры до времени, неплохо себя чувствовал. А то, что смеюсь и плачу над самим собой частенько, так ведь и был сопливым волчонком! Вспомните-ка сами годы учения – каждое лето мнится вам, что прошлый год был еще детским, но теперь-то вы повзрослели бесповоротно! Уже и менторы величают вас по титулам, так как не отражаться в зеркале готовым кавалером? Но скажу вам простую правду: так длится всю жизнь, и каждое лето вы будете смеяться над собой минувшим.

Я был тогда в охране на дальнем посту. Довольно сонная забота: сидеть и ночь сторожить. Но все же набросаю вам

сейчас живую картинку, чтобы прочувствовалось, каково это дремать-дремать... и вдруг.

Треснула ветка где-то и проснулся в испуге, и сонное воображение тут же всколыхнулось фантазиями – вроде слева, не одинец ли гладный, давешний гость? У кого шерсть над калканом сваляна в смоляную броню, что тычь его не тычь. Абы только в зрак бить, да где тут видно. А еще ли гонный уж вертопрах, Голох его разнюхай?! Да вроде *препущией*... бишь, росой кабаньей, которой черти поутру моются... вроде не души́т?

Тут же назади, за крышей поста, ухнула неясность, как в насмешку. Ах, бородатая тварь! Так вот и дрожи-вертись ужом, безъядно тыкая жалом факела в инешнюю темно-темень, скорее в Щербачка попадешь. Тихо так он ходит, забитый паренек... Эх, я даже чувствовал над ним братское главенство. А не, спит же он, с час назад улегся, пока еще Медведица не показала когти... Тише ночи спит. Угрелся там поди...

Чу!!! Задремал ли я? Факелец угас уж и выпал куда-то к Метаре...

Чуть от страха не обделался, самым нутром почуяв что-то темновое, вкрадливо шуршащее со стороны лагеря. Задышал было ртом, влажный пар на губах... да вовремя дернулась щека – попомнил завет-оплеуху прошлой поверки: сопатка тогда потекла на дыхальном пару, шмыганул и попался. Ах! Враз нащупал черен – ах, тут! Вот еще наука – не ша-

рамбать бутеролью (ну, лопастью по-местному), не тащить меч впопыхах, готовить заранее... Я шевельнулся, разминая затекшее плечо, пригнулся засадно. Готов! Туша сержа, выданная мражным букетом бедряночки с чесночком, накатывалась понаветру, глуша остальные звуки. Тот еще секач-херач! Зубы запросились биться... Ах, тля!

– Именем Метары!.. – и выкатился из-за шершавого пристенка шелудивым катуном, выжался пружиной, выпростал меч... – К-кто идет? – дурно выкрикнул во тьму, следом лишь поняв, что пережмурился со страху... Ровно мурзик! Ах, позор шутейный. Ладно же... на!

– О-хе-хо! – заухал серж в морочной изблизи, что давешний филин бородатый. И поймай, где! – О-хе-хо! Не убий, кобель! О-хе-хо, вот ты живчик. Так и стовай, и чтобы не искорил мне zde.

– Кто идет? P-parole... При-йговор? – еще махая дрожащим мечом, я продолжал дурно-запинисто кричать, ибо так уставлено, не то зуботычина влетит. Серж-бородатая-сволочь того и ждет. Чудо, что факелец прокис давно и не выдал, чудо Глахово! Ох, молитва с меня!

– Карента, чтобы тя. Успоковался, франчонок? Зазнать бы еще, хде она, а? Тамгрят девки – волшебницы! – Серж хохотнул, треснул какую-то ветку и перегарный роздых приблизился почти к лицу. – Молодчик, мастер Геэль, молодчик, так вот и стражи. – Тяжелая железёная вачега долбанула мне по плечу... – Охе-хо! А! Не мычишь? Молодчик!

Завтрема вот, в уволку прихвачу с нами, а? Юбашонок-то гоношить-щипать, а? Устроим им Каренту, а? О-хе-хо! Вот, кстаже, а хде там мой Щербачок? Щеербочка? – загнусавил, отвратно хохоча. – Позыв у ме, хе-хо, обслужи уж по-франковски!..

О Глах!

У меня... У меня не было тогда воли сражаться с сержем по-мужски. Хотя какой там муж? Самое достойное ему – топориком бы сзади до жижи, аки слизняка. Но и на это не было сердечного порыва. Да и была бы воля – что бы сделал? И куда бы пошел? И потому – я лишь дернулся слабовольно, будто самого меня ткнули стебарю в причинное место, кадык заплёкался в безгласом спазме, да серж ответа и не ждал, – похрюкивая, уже пробирался наощупь в утробу поста...

А я лишь отшатнулся с его пути, стыдливо перегнулся через планширь в темную сырость, разблевываясь и давя звук, пока там, в душном poste, меняли друг друга хрюканье и хныканье, сопение и какое-то чмоканье... ббббоже... ааагрх, хггр... фуух... вот, тля... ну, вонец... не учуял бы, ирод.

– Ааа, слатенький! – заорал серж внутри, перебивая истошный Щербачовский писк. Еще поорал, пугая подкрышных нетопырей (так абрашки и сполошнулись из-под строп) и выпростался наконец в улицу, что-то приволакивая хвостом (кажись, портупей) и тяжело вздыша. От разлившегося кругами мерзowego духа, от жаркой туши, почти трущейся о локоть, мне опять заворотило кишки чуть не до горла, еле

устоял на млеющих поджилках – ошершил даже щеку о стену, да косяком и приочнулся.

– Охе-хо. Стовай мне, рымля... Ну, завтрама, франчонок. Стражи мне тут... Щербочку мою стережи... О-хе-хо! – про-токовал ирод на роздыхе, почти нежно, и опять одарил меня варегой, тля, да уже без злого размаха, и попер-попер-попер натуральным одинцом, хвоща и ломя зазря полногодный ще боярышник, будто не сознавая дорогу. И ниже зачавкал по ольхам, к ручью... видать, бошку от зелья отмочить. Да никакой эльфийской влаги на сию скверну не хватит! Ах, тля... Ааагр... фуух... урод же.

Вскоре человеческий треск утих и опять тревоги – то нетопырь обратно под ендову скребется, то осьмизубы в лесной подстилке слепошатся... то ли палый гландис (ну, желудь) прополошил осоку, то ли совушка погадку отрыгнула. По-настоящему, я токмо черного единца и опасался – ладно бы желудился, а то привадился по корням трюфеля ковырять, нешто делиться? Но то днем... А ща точною завидовал желтоглазихе-неясыти, как ей все ведомо и явно в ночной паутине. Еще выругнулся на сержа по-детски (чтоб до полудня хрипелось), отыскал с пола давешний факелец, потыкал ветошью в затаенную крынку с *деревянным*, трудно раскурил огниво... хмурясь, прогрел махоточку отвара (горчит немилостно). Эх! Факелец приладил пока в щель меж хилыми сосновыми гредами (эх, криволапы), сам присел-привалился на негодный обрубок, насильно прихлебывая. Пламя шипе-

ло над ухом, обессиленно тщась укусить, заполняя плескучей щепотою весь мой тогдашний мирок...

Что же, гордиться мне нечем. Но я часто возвращаюсь памятью в ту ночь, где столь густо перемешалась вся путаница тех дней. Когда я жил, ей-глаху, как слабоумный подросток... сущий *dérangée*, кому довольно было минуты, чтобы перейти от плача к смеху. Какое же метарейское слово? Блажеверный? Когда не думаешь об окружающем зле, а просто сосуществуешь с ним. Когда и воспоминания, и сны – легко перемешивались в детском моем сознании, будто в некоей Аристофеновой комедии. И ежели я выступал в той комедии первостатейным горховым шутцом – так и что с того? Надо быть честным с прошлым, даже не для друзей (им-то можно хоть три короба пестрых лент на уши накрутить!), но для себя. Ибо только помня прошлое можно видеть будущий путь. Ибо никогда не нужно приукрашать себя, но недокрашивать – можно. А ежели и приукрашивать, то сатирически и преувеличенно, будто на ярмарке под кривым стеклом. Хах! Помните свои кривые образы? И потому, что столько раз вспоминал и перебирал в памяти каждый свой огрех, рассказ мой уже не рассказ очевидца, а будто перевернутый трижды парафраз нелепой сатиры, где перепутаны сон и явь. Но что же делать, если заслужил эту сатиру? Итак... Я безглашно дремал на посту, и во сне переживал заново другой сон, с которого начались мои Метарские службы...

А было так: сон был густой, без сполохов, и вдруг-да будто льняное полотно души начали пожигать лучинами... да, будто меня пытали за колдовство, за вожество с эльфами, за неведомые мироскольные страсти. “На одр шельмеца”, приказал кто-то темный, а ложе было – набитая гвоздьями дощина, да еще раскаленная. Сами-то пыталели точно были чернокнижники, ибо как же так? Доска и коркой не тлела, но жгла спину немилостно. И вот – они кричали на меня назвать грядущую королеву. И Гаэль (это я), хотя и во сне, хотя и мучимый нестерпно, почему-то неумно и злостно хихикал над ними, ибо ведал (не знамо как), что были они суть-невеждами и про будущее – даже правильного пророчества не зрили в тех лучинных скрижалях. И гвоздья израстали все новые и новые из ощерившейся глазками доски, плавилась на жару и рослились в погань, в дурнушник шипучий, сляясь на черешках в двух-трехраздельные колючки. “Нет, он ничему не пророк и не свидетель!” – причёл разочарованно кто-то темный, не разглядев во мне корысти, и Гаэль (это я) ажно разыкался от горького смеха сквозь злые уколы дурнушника, как же нет в нем корысти, ибо он и был центром миротока? Аааа! – уже взвыл я, Гаэль Франк, выпадая изо сна, ибо не проспел познать их тайнозвонное слово: но что же суть мироток?

– Ух-фу, ух-фу... – я дрожал, скукожившись, часто-часто дыша, опять не помня себя. Тело (не я) начало как-то распеленываться, усаживаться, обживаться... Где же? Бесцвет-

ная сыростливая камора, чёй-то тусклеет и шуршит (улица?) из амбразуры над головой... ах, и каплет с ее подошвы за шиворот. Справа дверь окованная, но с подвыбитой доской, еще там в углу некий чугунок, ч-ч-что же это, урыльник да без крышки? В нос той же миг шибанули мерзостные миазмы и тело вяло скособочилось, блевно изрыгаясь под стену, всю и без меня шедшую сохлыми пятнами... ух-фу... да нечем изрыгаться. Пробила испарина... голова, хотя в тумане, что-то начала соображать – я в стражнице, поди? Брошенный надясь бесчувственным кулем на дощаное лежбище, но без тюфяка, прям-да на нестроганые задорины. Еще занятно: толстые крепкие ноги лежбища одеты в железные тазы... ха, будто в рваные боты! Да-да, присно и вода тамо же гноилась, судя по обильной слизи, да проржавились уж сквоззь... К чему бы тазы? Тут рука левшая сама ишь-то потянулась расчесать раззудшую отлежанную щеку, да я и взвизгнул по-бабьи, вскочив и ошупываясь: запястье, да что, вся рука, весь я... весь был в мелочных ранках; по всей плоти торжествовали раздувшиеся кровяные гладыши – их шевеление ощутилось разом и под запятнанной вдрызг сорочкой, и за ухом чой-то (пшел!) заскреблось... и в яйцевище (ох, Голох!) засвербило нестерпно.

Тако и помучался, разоблачившись до зяблых нагишей, давя клопьев по всем швам и полам, облачившись было брезгливо... да и опять, но ничё уж не сыскал на третий раз, – вышло, по мнительности досада. Но все-то вздрагивал

и взрыпливался опять расчихвоститься, сидел нахохленно, бубливо голохясь под нос, пока терпеж не подошел. Кое-как, прижав ноздри, дыхая в ладонь, оправился у *чугунка* и отскочил с запинкою, с портами на коленях еще, кропля еще глинистый пол, обратно под скудосветную амбразуру – поветрие посвежее словить. Но в дверь не бил бивмя и стражу не зыкал вельмово, давешней трепки хватило.

Наконец – я дернулся от дремы. Кто-то далече в коридоре жмакнул железной дверью, прохохотал эхом во все закоулки, протоптал тяжело до моей каморы, скрипанул ключем в скважине и бухнул сапогом по окантовке. Дверь испуганно ломанулась внутрь и в проеме заплясали огневые тени, затем выказался статный усач в кожаном прикиде стражника (таких-то я и следил вчера по городищу). Малый приладил факел в крепеж на стене, только при огне и разведевшийся, почистил от чего-то картофельного ус, потешно скосив глаза, затем сочно сплевнул какую-то бурую жвачку в сторону *чугунка*, цыкнул, что-то выцепил в зубе кривым засаженным пальцем, еще хрюкнул носом и сплевнул еще, будто на меткость, и добродушно воззрился на меня:

– Ну что побылось? Гуторишь по метарски-то, а, блаженный? – Голос его оказался сочный, особо гулкий по каморе, действительно обильный слюной (ибо стражник снова весело плюнул в чугунок), и живо напомнил виденные вчера на фруктовом развале желтые пузырьчатые срезы помпельмуса.

– Не... ны... – замычал я, взвившись было на новый око-

рот вроде “не знаю чина вашего, господин хороший” (ах, всё злые следы риторики, коей меня зазря потчевали дома!), да вовремя осекши язык. Да еще потянувшийся с коридора запах кухни пустил стокмую резь по желудку, что оный буркнул простодушно, вовсе уравнивая меня с усатым пришельцем (про себя я уже окрестил его *картофелеусом*). – В-вполне понимаю, мой сударь, – я отвечал в итоге несколько нахохлисто, но без верхних ноток в голосе. Метара его ведаёт, к добру ли тот малый?

– Агась... – Стражник вдруг разухмыльнулся, абы заклад выиграл. Засим вдумчиво дал двери пару добродушных тумачков, выпростал факел взад и подшагнул ближе: будто подпалить меня хотел (с перепугу помнилось), да на тусклом луче из амбразуры факел утих и лишь тихо шипел. – Ну, ходку-то выходишь? Больно ты блажил давеча... – Еще покрутил на меня белесыми глазами и добавил, ажно причавкнув и сам себя переплюнув: – Как ты пожрать-то? А потом до коменду погре... хр-р, тьфу!.. потолкует с тобой за твое рожье.

Итожно – *картофелеус* вывел меня в харчевальный зал, где моложавая стряпиха хохотнула невнятно: “Новенный, что ль? На поскребушки и соль!”, – и *чавота* нарочито наскребла мне с котла. Я и хотел, да уже не мог рассориться, совсем поплыл головой при явном виде и дыхе еды – густая бобовая каша, даже, кажись, со шпиковой нарезкой и черными чесночными зёрнами. Ткнулся с поданною ущербной миской за ближний стол, где под светильником завидел

еще ничейную пару горбушек серого, да и принялся лом-тевать кашу в рот... о-о... от же горячий пересол! Проводник мой тем часом подсел к четверке окоженных мужланов (ох, и непробный тут народец требуют в стражу! дворяне ли вообще?) и я, отходя от первого жора, начал уже почище выскребать плоску хлебом и даже с любопытством прислушивать... Гундели примерно так:

– ...и так засранцы щедровали по домам, и тот Грегор, кабы что, подмускатил дружка из Голоховских служек, чтобы надписал им харателину, мол, выдана префектом сифонариев. Токмо когда на жнивне вышел пожар в гадальной кварте, попали они на главного схоласта, тот и спросит: кто таковы? Грегор ему на свою диплому в нос – мол, от герцога помощатели. Тот прощельга тоже – пустил их мнимо, а сам секретаря до нас выгнал. Комендус его пыжит: ты что же такой-сякой препоны тлеешь моим помповикам? А он – да какие тать-ять вашеские сифонарии, когдась такая подделка! Так и записано: выдана префектом сифилариев!

Аааааа! Хохотливое эхо так и забилося гусью-лебедю под низкими сводами харчевальни. Да точно Момос, веселый божок, самолично посетил нажорников: один топотал по гулящей половой доске до несносного резонанса, другой, слезясь в ручьи, кувасил по столу латной варегой, так что дрожали сбившиеся в испуганную отару оловянные кружки, третий... От седних неприбранных столов и другие служивые потянулись, роняя утварь, узнать анекдот... корчась от гоготливо-

го удушья, отваливались обессиленно, истово шлепая друг друга по плечам чуть не до преставления. Мне, ради Глаха, странно было их наивное веселье: никто ли не ведал буквы настолько, чтобы усомниться в бытности срамной описки? Но, как бы ни там, подпав под сей клацающий хохочущий рой, да особо после пряной запивки с общего кувшина, и мое настроение тажно вспенилось... вообще, от еды развезлось по всему телу теплое умиление, хотя что-то нет да и бурчало в толобасе живота.

Идти к коменданту пришлось сквозь улицу – из черной двери в углу дома мы вывалились в дневное солнце и говорливую толпу; в нос били запахи редиса и тимьянного меда из расставленных прям-вдоль стены лозовых корзин и перетянутых ремнями кадок; в проулке мокрое линялое белье трепеталось сквозь мористый ветерок и вяхиревое сражение в пыли за какую-то корку. Затем – во двор с белесыми колоннами и выше-выше по щербатой лестнице; настроение мое тажно вышилось с каждой потертой ступенькой, будто по мажорным нотам: как же не признают во мне дворянина? да определяют может к этому герцогу! или вселят в трактир, пока отпишут домой! и поручат временно кошель этих... как... лемов! и уж буду-то осторожней с элем, и девку возьму одну для качества... аль двух ли?!

Солдат (другой уже, белобрысый веснушарик) завистно придержал меня, зажав в горсть клочок моей куртки и отянув назад. В светлой, крашеной охрой комнате без двери –

за входной аркою, сквозь солнечные клинки наискосок, виделся боком давешний добротный бородач: нынче-то в зеленом плотном мундире, впрочем, расстегнутом на часть крючков, знамо, от усердия! Будто пыжащийся за тяжким дубовым столом над кожистым пергаментом с угнетенными краями – знамо, неподдельная герцогова хартия, коли даже папье-прессы в виде диковинных змеев! Комендант простыл над нею со стилусом во взнесенной руке, вотще вода по воздуху какие-то знаки зодиака, в школярских муках плутая по завиткам букв; в завитой бороде его тяжелились потные капли...

Аха-ха! Тогда, на ночном посту, даже просквозь дрему, я шибко прихлопнул в ладоши от столь славного сна. Как забавно, спустя годы, смотреть на себя со стороны! Казалось мне, ей-ей вот ухвачу птицу-удачу за злещеную гузку, но от хлопка моего, от вздражения стенки под спиной, хилый факелец пал обратно на земляной пол: пламя пышнолось обидчиво кривыми хлопьями, да тут же выродилось в тлен и скверный чад. И подручный сон, люди и слова-птицы, даже сам фантастический образ мой, яркий абы любо-молодец, начали киснуть как под порчей, обличаясь школярскими карикатурами...

Вот так было:

– А-ха! – я вальяжно было хохотнул, все еще в добродушном настроении, предчувствуя яркое возвышение своей по-

зиции грамотея-астронома при дворе, но ах! Веснушарик так прицельно, як-же муху, шлепком осадил меня по губам, что я самотельно съежился, попомнив тычки наставителей в ликейоне, покрылся затем пунцовыми пятнами и забулькавшими в груди выдохами... уфф!.. тожвременно кипятясь воображением гнева и стыдностью детской знобы в костях. Уфф!

– Мессир комендант! – тревожно доложил стражник, так и жесточа меня за куртку. И едва бородач, отираясь от бисеристого пота до гневных круговертных брызг, тяжело подъял голову (стриженную весьма кратко, по дворянской моде, но оттого ще боле бычевидную) – стражонок (да сам-то животом слаб!) тонко заквачил, задрожав рукой и сбиваясь с устава: – Квамо той блаженный. Квелено, вкормлен до ушей!

– Також! – развесисто проронил черноглав, абы приложив змиеву печать к тяжким раздумьям. И столь прожег меня палаческим взглядом, будто я-гость был досадной кляксой на том пергаменте. Пожевал еще губами, как бы пробуя шаткий зуб и предчуя неприятность выдерга, но пока срыгнул растяжисто: – Ну, давай покумуем. – Солдатик при сих словах сердечно дал мне-пленнику крайнего растычка и был с глаз долой. Мне же, промыкавшему весь свой музыкальный настрой, осталось лишь непредставленно проковылять, неловко шаркая, под очи командующего:

– Я... п-позвольте... Ваше п-превосходительство... Гаэль Франк к вашим услугам... могу быть полезен... – тут я и вовсе потерялся на солнечном свету, бьющем в лицо, и во

всех самовольных шумах и запахах из расствóренного окна, и опять странно окоченел грудью, потерянно переступая поднемевшими ногами. Еще и чуял внутренним ухом гнусный поскреж кованой набойки по камню (где же вторая? отлетела?), можился закаменеть, да все зазря... А сквозь солнечный морок и натекающий со лба пот так и жгли меня угли-очи коменданта, медленно качнувшегося на стуле и тож попавшего под солнце... кои затем зазеленели и заплясали во взрыве хохота:

– Ну, право, облаженный... – голос открылся густым и с акцентною притяжкой на гласных, богатой потаенными обертонами: – Что-то мнешься, как на костре, а-а? Еще пока не тащим, а? Ох, облаженный, ни монеты, а прикид на клирика. Испит, изодран... Как же ты к нам закаверзился, заассанец?

Я столь опешил от сей тирады, самой долгословно-благозвучной, слышанной на сих берегах, но зело страшяющей тайным нижним тоном, что и проболтался как на духу:

– По окончании ликейона Коголанского, ваше превосходительство, был с вояжем совершеннолетия в сии края, в сопровождении родича, каковый Тимон подвергся давеча злочестному нападению, почему остался я, Гаэль Франк, к вашим услугам, без полагающихся к положению средств, о чем прошу вашей милости в восстановлении и связи, и направлении...

– Стой, стой!.. – бородач опять то ль от зуба морщился,

утирая болезную слезу, то ли употел в казенном наряде, то ль... может ли быть? смел смеяться над моей злой досадой? Ах, варвары!

Но затем он замрачнел резко, буде изжога накатила и изгрызла всю радость жизни, ибо поднагнулся вбок, доставая емкость... выхлебнул быстро, морщеваясь (кисло, ать!), винца со скупого кувшина, и взотрыжил, утирая с губ красные капли, словно репетируя депешу и дискутируя правильность мер:

– Також... Коголан!.. Как в Коголане оном, ведомо нам, примножились варвары безголохие... чему доказательно есмь улики... сего нищевброда волею герцога милосердно накормить с челядью... и направить в каторги, в солевые пасеки... також, да... с искуплением содержания и затрат. Стража!!! – и тяжко так взгрел кулачем по столешнице, что кувшин досадливо припрыгнул и будто бы сплюнул каплею на драгоценный документ.

Ах, кувшин! Пошто же я им остоль заинтересился? Остоль, что мысль осеклась... Ах, да. Мелкий, неглазурный, походу просто домашний кумганчик со скупою крышкой, абы не выплеснуть неряшным замахом, – обыденно пользуют для опохмела (гой-еси, яблонева заливочка на медду!); также аптекаря держат там досадные жидкие *порции* от свербления и закупорейства (хех!); тоже в домах изысканных (гостевали у стольных родичей) тако подают черный горький чай, именуемый кофьем... И лишь егда солнечный свет пе-

ребился вдруг и опала теплая воздушная тяга у щек, и уже чесночнодухая пара стражей глумливо хватанула подмышки, той-то я-каторжник всполошился, визжа как свин на закланьи (ах, стыдно вспоминать!):

– А-а! Но как же безголохий?! В ликейоне на авгура трети- ровали... вояжем совершеннолетия к... к-к-купели Метаровой... Вот же а-амулет наследный! А-а! Голохом... А-а!!! – меня уж выволочили почти со скрежетом (то набойки опять), вывернули лицом в пол, голова уже таращилась за аркою в сырую каторжную темь, взор уткнулся в секоножных пауков каких-то, разбегшихся от моих колошматящихся сапог, яко от полундры, или как-там... valonder? Да-да-да! Так во шторме кричал тот шкипер, егда також колотило и болтало, и матросы ворочили меня (Гаэль Франк, к вашим у-у-у) в трюм от лишнего героизма...

Уф! Кактож, покачиваясь с носок на пятки, опять я остолбился перед комендантовым столбищем, мутным взором разглядывая знатные буквы на пергаменте – но почто вверх ногами? Таки колебракрушение?.. Корлебла... Глаше мой.

– Единоверец? – переспросил бородач раздумчиво, вертая в руке мой амулет на тонкозвенной цепке, в ликейоне заслуженный, – искуснейший серебряный молот, коим Голох разможил мирового змея. И нащурил еще черны очи, экий грамотей, разбирая зацарапанную дату посвящения. – Не варвар, сталоть. На слуге-то не сыскано... – Еще раз почтительно потер молот толстыми распальцами с оломанными-огры-

женными ногтями (ах, варвар, черный стриженный варвар!) и знаком велел веснушарику вернуть мне оберег. Иже ведал, злодей, бо страшнее несть вины перед Голохом, чем имен- ный апотропей перенять!

– Також, слушай, – заговорил комендант с мучительным облегчением, аже зарыжев будто бородой; отложил указный стилус и поглядел на меня с некоторым блеском радости. Продолжил звучно: – Напугался, а-а? Ох, облаженный... Что ты? У герцога нашего с варварами разговор сух, коли вески- ми левами не сблещен, а? Но доброму отроку в беде – веле- но помогать по рассудку. Но зерцай на себя – вылитый же ты зассанец; дядька пропадом пропал... деньги все, коголан- ские ваши златы динары... – Тут я слабо мотнул ухом, ибо то- ль почудилось от головокружия, то ль и впрямь комендантий чем-то при том *зыкнул* в кармане. – Ну дал бы тебе, а? Но завтрема будешь тут же, облаженный, а-а то и... – Бородай выразительно щелкнул ногтем по грамоте! Я вжался было головой чуть не подмышки, чуть не в чеснотных стражников обратно кутнулся, но да окстился-задышал, вспомнив, что сие лишь актерский жест – видали такие истории! А даль- ше губы бородача долго еще оживленно трепенились, будто встрявший оконный ветер, надутый Голохом, влаживал в них некие спасительные словеса... кроху от щедрот!..

Уф... Опять, как тогдавеча в стражнице, сон побежал рас- пеленываться, теряя краски и звук, оставляя... что? Беспо-

лезные знания, вызванные из небытия поминанием ликейюна, взвились в голове сумятым вихрем, самоскладываясь в книгу-толковище:

Ах, если сон, как ведали анатомики, есть цветастый шар электрики, закутанный в серую шаль Голоховой дремы, то разум цепко еще держался за паутину сей дремы, перебирая ейные нити-поминания, натканые... но которой суженицей? Это было важно! Смешливицей ли Лакесой, и все могло еще разменяться на взмах век – прибудет искать меня из Коголана старший брат, например... – либо кручиницей Клото, знамо, замыслившей из моих злоключений дидактейский узор? Ах...

Я все еще перебирал витки того дня:

Небось – опять терял сознание? А сейчас-то – зело помнили и отческие уговоры коменданта, как-де славно юноше подтянуться в верной службе, и, чуть-лишь я принужденно чавкнул губами (денежки-то тю-тю-тю), дивно расцветшая веселость бородача, лично прокатившего меня до воинского лагеря на казенном дрянном шарабане и кивавшего по дороге на всяк-броскую кочку, будто тараторящего длинный заговор. Три образа отпечатались крепко: замок неведомого герцога Раваха на скале над бухтой – черные башни, скупые на бойницы, под зелено-золотыми штандартами Метары; потом – среди скелетов, что грелись на трикосых распяльниках за воротами, свежерванный труп рыжебородого лайфера – утренняя стражничья добыча (и комендантус

опять хвастал, как дятел!); а сколь прибыли – сальная рожка сержа, кому комендантус (трижды сдохни, ворюга!) долго оживленно втирал про звонкую добычу, и про опробованную с утра складщавую молодку, что самодушно продалась за долги (ух! а могла б моею быть!!), и коему спихнул меня, нареча заморейным родичем на седьмом киселе и велевши (скот! все равно черный скот!!) важить и свойную сержову судьбу не пытаться. *Не пытаться* было разотрыжено со знатным ударением – и на том спасибо.

Как позже развиделось – то была тщательная стратегия неведомого герцога Раваха: бескошельный пришелец в Метаре имел-таки нескудный выбор – солевая пасека, аль военный сезонный лагерь. В гарнизоне, укрытом в трех милях от гавани, на смыке полей и глухого перестоя, светилось потому шибкое число отъявленных рож, дивом слинявших с виселицы и управлявшихся только остренным бодцом и кнутом. Сержова ж (вжик-вжик!) политика была проста: важить того иль *нежить* этого, – а шибко спорых назавтра же без рогожки скатывали под овраг. Так вот еднажды томились мы со Щербой, чудным бродяжкой, на самозаднем глухом посту и не заспел еще я выпросить судьбу паренька, как налетели дюжие гопники... три орла, три горла... взалкали было склонить нас обоих, хохотали криворожно: ужо, блондинчик! Но я... уж таким визгливым крысенышом в угол забился, право, как оборотился... верещал Голох-весть-что обродича коменданта и сержа-охранителя, выпростав дрожа-

щую ржавленную пику, что сии *вожжевые*, перешептавшись, словесато покрыли *замореньша*, да и плюнули-недоплюнули. А в целом – по обрывкам сержевых баек-нравоучений на гимназиуме выходило, что раз-другой за сезон кодлу ихнюю кидали угнетать коих-либо герцоговых воспыливших данников. Нешутейные Раваховы войска притом перли чохом сзади и ретирады не спускали. А ежели кто чудом не перемалывался на болотный торф – беспочетно возвращевался в тот же ад на новый срок! Вожжевым! Ужели – то и была моя судьба, окороченная радельницей Атропой? Ахх...

Но чу:

– Гэль? Гэль? – запелся робкий оклик из глуби домика и стенца за плечами застукнулась неровно. Ах, Щербачок!

– Да тут, тут! – я ответил негоромко, раскачнулся на неровном топчанке, востремнул резво, ошупью хватаясь за бревна – ноги-то занемели и колен вще не чуял, смешно! А Щербик, как вечно, забубнил что-то на славном своем наречии:

– Човта задремался, а? Човта не щелкнул? – забубнилось сперва из домика, затем и сам Щербачок затокался из двери. Немного уже занималась утреница – был еще серый час, но тень Щербы уже виднелась густыми подвигами, а слышилась и паче: зевая скважно, разминал плечи. Вот чудик, как птах живет, каждый час у него как заново жизнь идет. Через серость хоть, а и так я чуял Щербову улыбку до ушей, и сам смеялся:

– Да ладно, Щербик... я так, и не спал тут... не спалось, знаешь. Воображал картины разные, как будто сержа в борова оборотил, знаешь, и он там ходит-ходит, урчит, трюфеля ищет, что мы вчера-то с тобой заварили...

Оба мы прыснули тут же, Щерба так совсем залиvisto разошелся – соловей зорешный!

– Афавфав... – И еще так пригнулся, повел руками по туману, что точно в серости стал выхож на тень охудалого одиноца с висящими боками, роющего скраденные ловкачами гладыши.

– Афавфав... – передразнил я, и тоже повел руками, отрываясь от стены. Ноги ще кололо от долгой рассидки, потому вовсе смешнее пошла животная недоумевная раскачка. Оба мы еще прыснули, да и обнялись облегченно. Когда завтра-назавтра отправят на гибель – право, каждый день радостить будешь!

– Как ты, Щерба? – спросил я заботно, еще да хлопая дружка по спине, но отстраняясь чуть и вглядываясь сквозь серость в верную улыбку.

– Дачо, Гэлька. Незлой ще быв, не вживай. Не вживай... – но то ли всхлипнул у меня на плече, то ли просто туман утрешний заблестел в очах. Так-то – каждому быв ясенно, по-Щербовски гуторя, что проще серж-один, чем вдряд все в очередь. Серж затем мальчика со мной и постовал от недних пор; ишь, ирод *занежил* Щербу по-своему. По-своенному...

И все же – как мог Щербак, сквозь это-это, каждый день

наново свежо улыбаться жизни? Может, истинно, что недолго нам жити осталось?

– Ну вот, нимаю... что будить тебя... Я и не спал... – я сам почти заслезился, но Щерба уже перебил меня:

– Агась, картоны вбражал... афав... – и залился свежим соловьем, да и я за ним.

– Ох, Голох... Ах! Отварчик, Щерба, будешь зубья полощить? – хохоча еще, вспомнил я о болящей десне друга и потянул ще теплящуюся крынку. – Глянь-ка, нагреть ли? Да не нарвалось ли?

– Да човта ни, теплынь. Ольсовый да взварчик... – захлебал, с шумными перерывами, экую горечь. Знамо, в их сырых краях привыкли... – Не скворчила, ни. Поможает веренно...

– Ах, ну смех ты Щерба. Где вы так глаголить учитесь... Глаговолить, ха! Да, знаю, что ты машешься, Щербак! Не задавись! Ха! Знаю, сказывал уж, да я забыл что-то. Где-то с северов ли?

Щербачок откурлыкал наконец, отрыгнул полоскание в боярышник, и опять бурно-весело зажестил руками:

– Каждый динь главолю, човты! Ах, Гэльчик, так как-то бредши быв и тут, Глах знает пути, я ни. Но тако разумно мелешь, по дним-та пора белесить уже, а тута фрутеля ще свежи.

– Трюфели, Щербик? Ты про грибья поддубн... ольсовые, как ты гришь? Али про фрукты, тамо как наливчики?

– Да то и то, Гэльчик, то и то... словца-то не слажны, слажно, човты ладишь! – и расхохотался весело, шлепнув меня за плечо.

Ну как балясить с чудачком?! Човты-мовты! Я только и смешился сам, пытаюсь уговориться следом:

– Ах, човты блажирь, Щербик! Глах знает пути! Да как бы скажет? Намо сами мы, аво выйдемся, пути-то сыскать? А? Грядем ли тако?

– Блажирь, Гэлька, само ты, – Щербачок уколол опять густо голубыми, почуявшими зарю и росу очами... ликом чист, как сейчас Голохом и сотворен. – Бредши быв много, граци и блаты, мова разна, благоти ни. Второе благодь, Гэлька, источит ни, дремочет влажно. Любо те быти, любо знати тя. Кличи ме, ша немый прибежу. Друже...

– Друже, да... – Таки и сам я заблестел глазами на рассвет сквозьлесный, смутился. Объял еще крепше... и о чем говорить с другом, который друг? В смехе ли, молчанье ли... – Лады-лады, Щербик... ну ты карауль, кличи коль що. Пойду я спальничать, лась?

Ах, откуда и сам гуторить стал? Лась? И что это? И тихо повел ладонью по локтю друга, и пальцы сплел с ним в завсегдашней клятве... и запотыкался в домик-темень, где охапка соломы шелестела, другом обогретая.

Я повозился малек, гнездуюсь, шибче подгребая под щеку... и ничего бы, но зацарапило ухо, пришлось тамо кула-

ком примять позошье – ну, дружье дело! И когда тепло растопилось по членам, когда соломенный прянцовый запах пробрал до чиха – ох! не мнил, что тако вздрог! – ясенно вспомнил о Катинке, самым телом взомлел! Катинка, Катинка, Катинка...

Катинка! Время высокопарных слов!

Я скажу вам так, собратья во Глахе: мы все живем увлекаясь. Но иногда (даже если по пути в бордель) оступишься на кривом булыжнике и упадешь башкой в перекрещенный лунный луч, и назавтра – верная примета! – встретишь звезду. Так и эльфы говорят, ибо так и есть. Ибо вспыхивает дева ярче полуденного светила в дюжину огней, собственной *Гелией* твоей, и в душе первая весна от сотворения мира. И те из вас, кто морщится и насмешничают сейчас на задних скамейках (я ли не сиживал там!) – о, знайте, что вы просто несчастны! Несчастны, ибо не ведали даже краешка рая, не вдохнули даже горсти Элизейского воздуха и не знаете цели своей! И даже не считайте себя людьми – о, вы не человеки еще, но сущие лоховесы, непогребенные зомби, ходячие костяные болванки, рыночные марионетки, расходный материал для королей и церковников. Но ждите и молитесь Глаху с Метарой, безусые бражники, чтобы боги подарили вам вечность! Но в том утешение, ученик, что каким бы тощим переулком ни плелся ты в ежевечерний кабак – Всегда Сбыточно Чудо.

История была та, что в тупомечных тяжбищах на гимна-

зиуме я чинно-славно себя показал и вошел в доверие! А! Все те начаточные кустодии, выказанные сержем для новинантов, и даже боле (особо я любил верхний лангорт) – столь вдолбили мне еще в ликейонском гимназиуме, что сия прыжня с баклерами только смешила. Я-то верно знал от первого брата, побывшего в дольночинной сваре с соседом (за кого вышло отдать сестренку), что на подлинной брани и щиты-то потяжче, и мечи-то, кто хитровей, подбирали с наострием, дабы чуждую кольчужею проколоть аки бычью кожу... Ну – а паче история та, что самых ловкосердных серж, по праздным дням, возглавлял из лагеря в походах *на разомление*. Более того – ибо платы, кроме хилой крыши и кормежки с гнильцой, мы и стотинки ижей не имали, то известный кабак “Топор и Дева” (во времена изуверские там рубили власы согрешившим – ну, говорят!) был уделён родичем-комендантусом (ах, глахомольный вор!) уболаживать наши потребные нужды: девки были весьма ушатаны, но под пинту темного любая очень шла за потерявшую доход белошвейку! И я бы не огнушался так пожить – пожалуй, нет! – ибо заводчик, словив словцо о могущем псевдородиче моем, чуть не всех кобылок меченых готов был самолично отмыть и подстелить! Ох, и разжился бы я (марионетка убогая!) этакою жизнью! Три пряхи, однако, знают свои труды...

Вот так было:

– Аааах! – визгнула рыжая девчонка-прислужница, разливавшая имбирный сбитень по-на-мимо сдвинутых кру-

жек, едва сержева широлапища взлетела ей под булки. Козой вспрыгнула на стол, ей-глаху! Да еще завизжала, вся ярая, как волос ейный, да и сбитень весь, запрокинув кувшин, заплеснула сержу на разусье! И поскакала по столу, повизгивая, перескочивая накиданные кости и пупырыши (куррей жрали) и лапкие руки, потянувшиеся к голым розовым пяткам. А серж, красный от сбитня, приподнялся над скамьей, урча огло и распялив руколапы будто в жмурках... моча глаза ручною водой из плошки, шлепнул с размаху себе ж в физию, устроив полную мистерию. Ну, как омытие грехов...

– Агахагаха! – загрохотали пропойцы, давась от смака и тут же, натужно вращая глазами и пуча щеки, сблевывая излишки под лавку – ну коза! ну нечестивец! – Виина! Хозяиин! Ээля! Сбииитня! – так и орали, хохоча и дрыжа всеми конечностями зараз.

– Новотерка-х! – завистно хихикнула, криво ерзая на мне, доблая кареглазка, впрочем, на один глаз прыщавая, да и с усиками, похоже, проступающими с-под толстого слоя бабьей кой-то мазни над губами, – короче, местная принцесса. – Ниче-х, оботрут скоро-х!

Я уже маленько хлебнул золотого метарского, а то и не маленько, и был довольно добродушен. А по глаху, что эль тот был не золотой, а скорее мочевой! Пфф! От шутки сей стало только смешнее и соседи, с кем поделился яркостью, охочась, тут же прыснули тем элем на соседей дальше –

метарский мочево́й! Пфф!!

Впрочем, на такой сердечный накат девиц я не рассчитывал, хотя... дни-то зарубал, столько уж без утехи! Даже в ликейоне, чтоб его, ик! – даже в ли-ик-ейоне чаще бегали в утешный дом за ды-ыкрой... дыркой в ограде, но тама... ох, Глах! Как по-детски шутили там: шныркать в дырку за дыркой! ох, мама! метарский мочево́й! – тама хоть были отдельные комнатенции, а здешняя манера девок садиться на мужа прямо при всех!.. хотя, поразуметь, то и шибче для забавы! Благо, мой конец был не малый, чуткий похвальбам сих почитательниц, всякий раз заботно полоскавших его достоинство вином! Сия уж третья! Долго токмо возится...

Конечно, прислужница – то другое, то девчонка почище обычной. Честная, то бишь, строит из себя расфофаночку златонитную, а саму-то для заманки токмо и держат... а то ли и дают за цену-то?.. да хрен знает, спятишь тут от жары и этих угарниц. Но охоче б огневушке той засадить, чем этим клячам пареным... кому-то и полощет, ась... уф. Что-то мурно стало и сильно тошно...

– За Мета-а-ару! – завопил вдруг серж с противного ряда, покачливо вздымаясь над столом и махая, что боевым орлом, огромной двуручной круженцией. – Зааа Меее-тааа-руу... – завыли-застучали прощелыги кто чем мог, да и я воспользовался удачей – смахнул по уху бесполезную девку, воскочил... да и срыжнул, за Метару-то, все, что мог, прямо в стол...

Потом провал (хотя и буюнил, гряд, сквозь ночку), а к утру:

Что там гнездовилось в голове, какой красочный морок, лихие боги и кудрявые наложницы – все выветрил сразу, едва сотоварищи ливанули за шиворот колодезной склизью. Ажно со льдинками! И вторую шайку уже наготовили, да на себя же и пролили ржачно, когда полез с кулаками... уроды!

– Уроды! – повторил, хохоча с ними же, раздаривая и принимая разшлепоны по загривку, так уж принято на сей службе! Окстилось, так и продрых рожей в стол, а уж день и солнце... Что же! Отлил, опохмелился, да и вывалился в улицу за всей гурьбой, где те уж гопотились на ярмарку – обещались какие-то наезжие скоморошники. И пошли, благочинно горланя метарский гимн, сочиненный недавно каким-то местечковым бардом, – что же еще, коли у герцога с горлопанами строго, да за гимн-то расчудесный как накажет? Все ж за него, родимого! Так и орали, дурачась:

– Пусть даст приказ Равах, врагга развееем впрааах, Попотчует ворье, Метааарово к-копьеёёё! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метаарских острых стре-йе-йе-ел! Звенит военный гонг, шагает в шаг плутонг, Прикроет ваш шабаш, Метарский герцог наш! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метаарских острых стре-йе-йе-йе-йе-ел! – ах и весело было, с гудящею еще головой, дрожащими еще в икрах ногами, топотать по парадному булыжнику, что украшал

центровую улицу. И кричать, что было мочи:

– Да здраавствует Метааара! Да здраавствует Равааах!

И как ни хмурились кожистые комендантовы закрутки (родичи, Глах его!), как ни почесывали прилюдно руки, да серж строго выучил – максимум можно приклепнуть подвернувшихся простушек за что дотянешься, то же во славу герцога, что визжишь? Аха-ха, как хорошо! Большинству-то и нравится, раз под руку мнутя! Ах, то же ярмарка, Глахов день! Но разок и самим нам пришлось, точно простолюдам, прижаться ко стенкам: когда (помяни беса!) пронесся вихрем герцогский отряд, и даже будто (против солнца же!) черный профиль герцога развидел, так и отпечатался в глазу. Ух, страхота! Ажно ко смеху стражников ногой в цветочную кадку какую-то вляпался...

И вышли на площадь, увидав которую, всю в расцветных палатках торговцев, всю в аромате осенних радостей живота, я и не признал сперва. Лишь когда пробились прям к скороморшной арене, зазывально бросились в глаза разноростые буквы, разодетые в робы и хламиды, кафтаны и камзолы, да и сами Эл-да-Пирси в каурых сюртуках почтительно вливали что-то в оба уха развалившемуся в центровом кресле комендантусу, лениво покручивавшему бороду кривым мизинцем. Народец, конечно, напирал и прикрикивал, но все же продавились-проражились ближе к лицедейству. Шло наново представление Аристофена, смутно мне помнившееся по Коголану... когда также мялся-толокся на площади в ком-

пании лицеистов, сквернословящих от избытка пива, и любовался издали на королевскую трибуну – на юную графиню Эльзу, кривящую розовые губки на эти шутки... и воспоминания те... изнутри какой-то тоской брызнули из глаз, расколдовали будто весь окрестный морок, все его похмельное веселье, обнажив за пестрыми шторками палаток ту же варварическую нечистотность. И мерзкая пьеска, которую теперь, обжатый гыкающей толпой мастеровых, я вынужден был терпеть, срамила мне – ах! – самого себя!

Ах, друзья лицеисты, тогда я только чувствовал, но не понимал. И только теперь, вспоминая ту ярмарку, могу сказать, что узнал до конца горький гений Аристофена: взять бездельника из толпы и окунуть в деготь, и измазать курячьим пометом – и саму ту толпу заставить над собою же глумливо хохотать. Надо признать, и театр Эла-Пирси был затеян изрядно, с разными механическими выкрутасами, добавляющими абсурда картине:

Светловолосый незнакомец пойман на задках дворца – дворца! – справляющим большую нужду. Эпически прикован, приклеен своим испражнением к земле, не может освободиться – запор! о-ха-ха-ха-ха! Когда же взбешенный князь готовится убить его – вертится как на колу и от страха срет все больше, на этой говняшке поднимается вверх – к Годоте-Гадесу. Который, в свою очередь...

Уф! Даже показалось, что вся возбужденная толпа округ ажно обделалась разом, так вдруг ударили в нос чьи-то га-

зы... насилу выбрыкался через-сквозь палатки на главную улицу... Да и тут какие-то перечества: загородная веревка между столбами и кожистые стражники, жестко костыляющие всем, кто гнался под нею перескочить сторону... крики и дав, еще нестерпнее, чем у сцены, ибо толпа куда-то влеклась, отжимая ноги... топот и многоголосое хрюканье... хрюканье? Толпа? Да не схрюндил ли я и сам от избытка эля и не оборотился ли сам? Ах! Вспомнил! То был (Щерба ли упреждал?) праздничный местный обычай – выгон свиней на жор, короче на очистку дорожек от всей съестноватой дряни. Варварское рассвинство! Стражники прогоняли по улицам свой особый свинячий плутонг, а народ безжалостно отпихивали в любые щели... пихнули и меня, совершенно нечинно, но я уже не рыпался, наученный былым... эх!.. Пихнули еще разок, и кто-то опешенно запищал за спиной:

– Ах, сударь! Вы меня убили! Ей-глаху убили!

То была румяница-прислужница из той, из первой таверны! Ясенно, наодежена была по-праздному, в белой робе с красной рунной вышивкой, а то ли и не рунной, а просто отороченной пестрявым орнаментом. Из-под подола же – вот прелесть! – выглядывали ее ножки, которые я, медведь-шатун, чуть не отдал: заради праздника и самотной, как говорится, бабьей погоды, что выпадает рано в осень, была в одивных белых *sykhos*... Кажется, так? Ах, забыл слово, хоть и слышал когда-то – как бы краткие гольфы и с разделением для большого пальца. Ну это нарочно, чтобы – вот как сия

чудная дева! – надеть потом в улицу легкие лыковые подошники на тонких оборках. Ах, чудо!

На русой же головушке ея (так по радостно-ярмарочно-му и хотелось говорить!) косы были укрыты в тугой узелец, опоясанный листьяным венком на ивовых прутках. Ах, уж низала она и дубовые листы с вкрапленными glandисами, и ясенные с крылатками, и яворовые пурпурные пласти... И голубые глаза ея, чище у края и с синею обороткою вокруг зрака, глядели на меня, блестя от смеха, из-под взмахов поющих ресниц. Ах, сколь часто потом перецеловывал я очи те, темнеющие в накате страсти, и горячие щеки, пылающие нежностью сквозь горничный полумрак, и тонкие ноздри, раскрывающиеся судоржно от нехватки эфира, когда любил ее бесконечно!

О Глаше, Глаше, Глаше!.. Ах, как *тот* я заметался по соломе, лоя мящуюся рядом девчонку! Забубнил что-то, заснувшись счастно сквозь разноцветный сон! Ах, а сон был – что листопад: то побежалостью метнет в лицо, то кармином простежит-поманит дорожку впереди, да и зашелестнется в клубок... Все частички моей души, крупницы бесполезных знаний, всех литературных штудий в ликейоне, в коих не последний был!.. частиц, давно на дне души осевших, взвесились тогда по эфиру бисеристой дрожью, заголосили и раскрасились в этом сне. Как бы – вот, спал я (тот мальчишка-Гаэль) в тускloserой камерке, разбросав-

шлись руками-ногами по клочьям соломы, тусклый такой паренек, – а выше-то, над кособоким домишком, в разъяснившемся небе полошилось сияние жар-птицы, сияние моей души, и столь дивных глубинных оттенков, неожиданных каждый-охотник-желает-знать перемен, будто торжество невыразимых истин над горечью листопадных утрат... Грядущих утрат? Ах, будущее! Только и ведомое в бреду! И каждый раз, когда еще и еще вспоминал и вспоминаю ее, – я уже не знаю, тогда в прошлом вспоминал или в нынешнем сейчас. И если слова мои звучат слишком мастеровито для безусого мальчишки, то помните, что все настоящее вечно и говорю я – из будущего языком эльфов. И в мальчишечью мою любовь – в любом возрасте могу я войти, как в живую картину, и жить ею заново, и чувствовать новые краски, и говорить прошедшей любви новые нежности.

И те из вас, кто насмешничает, кто до сих пор не любил, могут и должны перелистнуть сии страницы, ибо не в козла будет корм! Но тем, кому ведомо сие жжение души, расскажу истинно... заблуждение ли? И да, и нет. В состоянии любви – мы не видим обыденного, но глаза наши становятся глазами богов. Ибо истинно говорю вам – такими Они и видят нас, человек, смешных светляков, со своих высоких небес! Вот так было:

Катинка (явившаяся единственной дочкой трактирщика! свезло!) умела часто отлынуть прислужных дел, прихватывая той-раз холодной дичи и эля, чтобы перекусил ее суже-

ный (то есть я!) от лагерной тухлой жрани. А я иногда – что же тут злого? – прибирал всякую железячку с лагеря, что лежала не очень, и на вырученные медяшки щедро нахватывал ей ленточки и златы-нити в златы-косы и еще блестящие колечки-брошки, и за руки бежали мы на луга за южные ворота – память муравушку, покуда день... а вечер – тайком я скребся по глухой стенце к высокому оконцу – и обжимались до рассвета в ее горенке, да и что обжимались, любились во всю прыть!

На диво, Катинка была религиозна до мнительности, тягала меня, коль слаживалось, на изрядные Метаровы процессии и звонные толпования, от коих гудела после ее головушка, но верно радовалась, что суженый ее суть грамотеец (о, ликейон!) и знает расчислить весь пантеон и мелочные их межбожьи сварушки... ах, хотя радешенька была, как истая девчонка, прихихикнуть над божествами, но очень тянулась верить раскушенному на праздник Дома прорицанию (в сладкой-то печенке), что Метара лично нас свела! Ах! А я охотно таскался за нею и все-все поддакивал, она была для моей вечной неги, для любования вдохновленным ликом, но не для метафизических дискусерий, нет! И про себя (ах, благодаренье кормилице!) – то я строил в кармане фигу, то скоренько складывал *пальцы меж пальцев накрест*, что вся наша встреча лишь случайность, встреча говорливых песчинок, ибо если бы боги впрямь смыкали наш шаг – о, они бы не успокоились! Больно-то мелко было бы для богов и прис-

ной их своры...

О да! Я мог бы, наверное, спать вечно, баюкаясь восхитительными видениями, скользя по завиткам Голоховой шали, – за все мучительные часы в лагере, когда изверг-серж не давал вдруг выхода и рвались в клочья намечтанные мотыли моего счастья, за всё-всё-всё, недоданное мне жизнью, – во сне, как с чистого листа, смеялись навстречу мне слезинки ее глаз цельною лазурью естества. И день оживал бело-трепетностью ее лица, и проталиной раскрывались ее веснородышащие уста, и под прядью всплеснувшейся, где виделся набухший сережек исток, млел, будто непрочный кусочек элизиума, вдетый ею тряпичный пимпернель. И когда обнажалась, когда вскидывала косы желтою льняною полоской поверх дрожащих вен, когда вспенивала их пышно, не была ли она нимфой, вздыхающей нежно, покидающей купель девства? Ах, а в ночи, будто обнажая тайный гобелен, когда вспыхивает мятущаяся свеча, будто по Глахову слову, из небытия – выплескивалось на меня, выбрызгивалось солнечной насмешливостью ее лицо! И на краткой прогулке, где в осиновых листьях поляна жгла румянцем, как лукавый девичий лик, Катинка была – этой рощей, дрожаньем и голосом тумана, языком древесной феи, чей выдох, спутавшись, индевет на кончиках век, но раскапеливается на мои поцелуи, растворяясь во мне! И там – или другой раз? – из-под радуги брызгали вдруг листья, обнажая разъем в яблонных ветках, где виделось покрасневшееся золотистое ядро, и там же рас-

пускала тяжелые плечи облепила, маня в хоровод, будто сжигая солнечный вечер на осенние бусины, и там же пророчили нам судьбу пряные флакончики львиного зева, ах, в Гесперейском саду! А говорили ли? Ах, до речей ли там, где рук ее, почти смутившихся, почти затанцевавших вальс, чистое влюбленное дрожание заменяло кугели фраз, где воздух шелестел тайным электричеством, будто рассеченный мнимыми сомнениями – не в любви нашей, но в вечности этого мига! – рассеченный умасленным сиянием ее золотистых кос, как будто радугою влет, сиянием, да, придававшим юную славу ее улыбчивой небрежности, там расцветающей сполна, где на губах ее ловил я пушинки ее неги и аромат ее – *ея* по торжесловному! – тепла?! Да, да! Вся она была – от дрожания века до дрожи пальцев, до голубизны усталых после прислужных часов голубых *ея* вен, вся была моим переменчивым счастьем, вздыхающей, не поднимая глаз, как вздыхает наяда, задерживая детство и ещё втирая в виски сладостный елей, отвечая *да* смертному. А крепко ли любили? Ах, мы были Кеик и Алкиона, когда гуляли вдоль прохладного моря, где с тягучим криком проносилась чайка под вскинувшейся к облаку волной и облако сочилось сквозь пальцы прозрачную берестяной строчкой: проснувшиеся звезды сейчас коснутся твоих синих воспаленных глаз, и мы застынем в мифе, Алкиона, покуда пена не отпустит наши шаги! Говорили ли? Ах, до речей ли там, где имя кажется ошибкой, прошептанное невзначай, где через печаль минувшей разлуки и

страх будущей – все равно, как бодрые сорняки! – пробиваются улыбки, где светлой полудетской брови разглаживается излом и выдох ее – ея! – как будто болен ее любовью?! И ее глаз, источающих испуг, слепые всплески голубые, и нежных белых рук скупые от робости касания, и переплетенье ее волос, будто из золотых каких-то снов, и непроизносимых слов почти неслышимое пенье! И где – когда совершена любовь – все еще дрожит слегка и будто нежит мятую простынь ее незащищенная рука, чья ладонь еще раскрыта в изумленье, как будто все и не всерьез, и тонкая линия жизни еще хранит смятенно тепло моей жизни? Ах, она сама была – лишь сбивчивая строчка из путаной поэзы о любви, где связывают многоточья несовпадения рифм, где испуганный нежный голос – тонковетлюю рошей взмечается в небесную просинь растрепом птичьих полумер, где на березках остаются желтеть ситки ее волос, где на тропках блещут неразбитые блюдца ее девичьих полугрез! Ах, и когда совершена любовь, как беспечно я скользил в розовощеких снах, где являлась Катинка благородной горожанкой, снизошедшей ко мне в луга, изыскивал среди цветастых стежек алый лак на кротких ноготках, голубые гвѳздики сережек, трепещущую капельку ручья на серебрянке тоненькой цепочки и щекотные ресницы астр! Сердились ли дружка на дружку? Да! Ибо что же любовь (так потом Ориест-друг учил, прозванный воробушкой!)... что же любовь, как не осколки прозы, утратившей медлительную спесь? Как две березы, иной раз растерянно

бросали оземь свои сережки, но затем лишь, чтобы завтра снова цвести! Ее один лишь вздох – и перепалок окаянных, колченогих от потери букв, да сгинет поросль, да сгинет, ибо только после ссоры слово исповедуется вслух в придорожной крипте, и только после засухи витую ветвь осеняют вершинные цветы, ибо только в испытанной вере в Нее в полной мере существует Она. И тогда – буквы, будто низка самоцветов, складываются в звенящий хор, покорные моему обету: она топни ножкой – и разлетятся стаею разжалованных ос, сложив неуживчивый вопрос в небе из искусственного глянца, – а посвети она сказочную нотой голубых забывчивых цветков и воскреснет рядом нежный кто-то, запинаящийся во слишком многих нежностях! И тогда – разговоров брезжит тропка, без памяти и сна, полная расплоха, не знающая дна, и тогда – на счастье и на лихо разбег ее бровей и разлет душистых кудрей, и будто нимфа поселилась на качелях ее век, и тогда – все мечтанья детства и взрослости излом дремлют по соседству в имени ее. Ах, какие глупости звучали в наших речах! Глупости, которыми был переполнен воздух, будто мостящие нам тропку до Луны! Невинные создания, лебединых предкрылий белый пух, упования, рвущиеся к жизни, но понапрасну высказанные, приносящие печаль и страх за будущее: и она всплескивала руками, задыхаясь, и щеки влажно щипала завязь торопливых чувств... и горячие глупости, как расплавленный мед, истекающие сквозь ее сбивчивые губы... и наутро, сквозь серый дождь за окном

и долей височных разнобой, все их она опять пересчитывала, все вчерашние глупости до одной, всех мотыльков моих слепых обещаний и, плача, опять улыбалась мне! О, как я мечтал быть художником! Чтобы моя провидчивая кисть могла изобразить задумчивую жизнь ее полубровий вздетых, манящих в иные приделы, изобразить тонкость ее взглядов, будто преломленье витражных брызг в заброшенном храме, изобразить оживление нежных рисованных ликов, всеобщное бдение цельного иконостаса о нашей неожиданной любви! Или – изобразить десятую страницу ее снов, будто гобелена полотно, где лица выражены неровно и закат льется в приотворенные окна, и где, тонкими лучами опутан, я мог бы коснуться ее дрожащих рук, где потолочный полукруг полон тайного воздуха и тайное слово еще не сказано, но уже коснулось ее уст. Как мечтал быть поэтом! Чтобы, когда будничности чет и нечет пытались загасить волшебный синий блеск ее глаз, мои стихи излечили бы ее сладкой пастилкой под язык, чтобы просыпалась вместе с солнечным арпеджио арф Элизея и босые ее ноги легко приемлили брызжущие росы моих стихов! Ах, да! Да, быть художником и поэтом, чтобы нарисовать пляж песчаный, где засухи правила ересь, затанцевавший смерчами, почуяв прилив, где поют русалки, возвращающиеся на нерест, и где шершавой волны опять – опять! – воплощается миф: пожертвовав тело свое налитое, гребень пенно-надменный искусно горбя, на лазури воды из песчинок и праха прибоая, из течения струн на-

рисует Ее лик, – где, воскрешаясь из пены влюбленных истерик, в пестрых перьях и кичливо трубя, стая нимф через отмель летит, призывая Ее, где, уловив жизни поспешность, прошептал бы я истощенной волне, что никогда не окончится моя нежность и неизбывны песчинки нашей любви! Ах, что мертвая ночь?! Если – по кромке бренности, где поцелуя ждет сирен окаменевших пенье, дыхания ее прольется бирюза и черной пасмурности вылиняет цвет, и за жажлой кочкой луны – огромной бабочкой вспорхнет желтоглазый день! Ах, Катинка, неразменная монетка, выдумка взახлеб, росплеск рыночного фейерверка, скоротечный озноб, омут, понарошку неглубокий! Строчками любви, новорожденными еще, дрожь и томление воздуха, капелью сорвавшееся слово наконец, радужная грусть и нежное стихотворение наизусть! И кто/что я без нее? Слепо, будто дышащий по звуку, будто она за тридевять земель, мальчик из ниоткуда, потерявший карамель и неспособный пережить докуку? И когда чертов буран за стенкой караульного поста воскрешает лежалых листьев вихрь, будто уносит ее улыбок теплоту и горечь, что я могу? Выдохнуть больною испариной ее лик на слюдяное оконце, и тогда мрак вокруг меня становится обеспредмечен, как солея пред сияющим кумиром.

Вот так я и дремал в слезах, а то и улыбаясь, весь в иной жизни и торжестве ином. И проснулся бы – не пересказал бы, не перевел бы сон, кроме имени ее. Сполохи цвета и вы-

плески слов, все мною перевиженное-переслыхнутое и перемолотое дремой, все плотно стежилось в цветастое одеяло, укутавшее мое внешнее я, и только нечто внутри, еще мне неизвестное, резвилось и росло.

Так вполне можно в сержи и жить! – вот и все, что сей глупец (тамотогдашний я!) сказал бы утром, потянувшись-зальбившись и неверно плюнув трижды через плечо.

Но три пряжи, прилежно сортирующие нитки моей души, ах – они-то знали свои труды!

3

Я не жалею о прошлом. Но все же, каким бы рычливым щенком (всерьез мнящимся волкодавом!) я ни был, но светилась в сердце Катинка и были щенячьи какие-то планы. На деле же, конечно, я понимал волчьи законы людского мира не больше, чем мотылек, только что выцарапавшийся из куколки.

И все сломалось, едва начало налаживаться. Хотя Елизер, всеведущий маг, и объяснил мне позже, что случайностей не существует, но до сих пор я сомневаюсь... а если бы боги так не заботились обо мне? Если бы наши с Катинкой дорожки не перекрестились в тот день и час у гарнизонных ворот? Если бы остался с ней и любил ее вечно, как и хотел? Так и порхал бы над мирским тленом? Смог бы? Елизер уверял, что нет... и не один повод, так другой, но обязательно отправился бы дальше по дороге славы. Что тут сказать? Я нынешний – не жалею о прошлом. Но я жалею того Гаэля-мотылька, которым я был и которого больше не будет никогда.

Плюх!.. Шшшуу... Был пасмурный осенний день, хотя и без мороси, и шугливым волчонком я скребся по кювете вдоль лагерного палисада, сердито жужжа под нос:

– Канава! Чтоб их! Кювета же! Хотя кто тут терминарии разумеет! Воеводы ж!

Относилось это к утреннему спору на плацу... Сержа никак нельзя было обвинить в чистоплотности, но кинули слово – кто-то от армии будет спозаранку, может и отправят на подвиг, и надо было хоть как-то причесать поляну. Вот и мел драный плац драной ивовой метлой, задираясь с прочими бездельниками, пытавшимися смеяться над моими знаниями сражений и позиций, набранными из ликейонских уроков истории. Ах, натуральный бисер перед свиньями! Да и клятая листва то и знай падала вновь или насмешно разлеталась из наших куч, лишая день всяческого смысла. И потому был я немного *сгоряча* и мысли жглись и бились соответственно. И пусть неподходящий день был для шалостей, но из принципа и злости пустился все же в *антрепризу*.

Полз я к водоводу под въездным накатом – ах, самому же стремному месту! Плюх!.. И замер, пузом в тяглом холодце, сгиная забродившую осоку, закиряя шею от укусов... Й-й! Засвербел позвонок, зливо ломаясь... ух, выклонился как-то, замакнув пожатые губы, лишь нос над самую жижей потружно выдыхал склизкую рябь. Ах же вонильня! Чу! Еще и зубецы от холода заломились! Чу! Дневальные на привратье, два матерых злыдня, вышедшие вдруг из караульни сплюнуть смоляную жвачку, бормошились почти над душой, въедливо чествуя честных девиц, сочно отрыживая тяжкие ароматы... да и задами не держались (ну прямо трубачи!)... приходилось ждать.

Но что же делать: незаметный подлаз по кювете и был

ключом к моей антрепризе – подворовке подков, первый год введенных нашим новатором-герцогом для обозных лошаков. Ну, заместо допотопейных сандаля-накопытников на подвязках – то-то в осенней грязище хороши! И потому весьма востребных держателями дворов! Ясенно, я не мог выйти на ярмарку и торговать с кармана; потому загрошно сбагривал подковки некой кривой роже на базаре, знамо лишь за медный звон в нужный карман не наколотой ще на оградцу на том же рынке. А то, нам на страх, пяток конокрадских жоп (пардон за жаргон!) там уж месяц сохло на зазеленевших кольях, ух как! Подковы! В Коголане-то они водились давно, для гужа и верха, и я от души смеялся местным кривым поделкам, совершенно без отворотов или чинного тщания о балансировке! Ах, а прямые безукосные нагели? Варвары же! Воеводы ж!

Да-да, и ключом, даже нагелем к прибытку (я аж икнул, отверкнувшись от тыркнувшего в щеку сохлого стебля) была наглая удаль торнуть кузню отвне. Ах, как я смеялся целый день, когда меня поразила сия идея! И даром серж-подлец выставлял на плацу кратный караул, – тем пуще потеха! С нашего со Щербой поста (отговариваясь, будто пошел *по-большому*) я бездельно шлепал в лес и сквозил через дубраву к отводной канаве, а там-то и приходилось полозовать. На это дело я, воображая себя сказочным ловкачом-буканом (бишь, эльфом-контрабандщиком), бережил старое тряпье под приметным камнем – влезать было мокро и грязно, но

не сушить же на солнышке? Но кто же нагадал выставить кузню глухой стеной наружу? Пускай сплоченной в лапу, да задник крыши прибили мимо лаги (эх, криволапы!) и доски подъемлились неособным усилием – ан бы не оцарапиться! А чтобы не попасть на поверку, озорничать приходилось по обеду, пока серж в конторе вкушевал свежие провианты с рынка. То было вроде подати, наложенной добрым герцогом, что каждый торгаш поочередно возрадован был кормить защитный отряд. Типа рабьей дани, положенной по распорядку, согласно доходцу... а мне-то – шумная суета, чтобы проскользнуть под накатом...

Уфф. То ли от неудобства меркнуть мордой в луже, то ль от монотонного гужения дневальных, чуть видных мне сквозь траву, – вдруг мне до холодной смерти надоел весь циркус. Еще вялый бурый пискун прижалился аж на кончик носа, нацелил хоботищем, двоящимся перед слезящим взором... Я зажал дыхание и макнулся ниже, пискун обиженно порхнул куда-то за ухо. Сволотец!!! Если бы не Катинка, коей прошлый раз погорячился наобещать изящную вошеловку, деревянное резное яицко, прямо как у благородных дам дома в Коголане! Так увидел в оконце богатной лавки, так и обещал: а разве недостойна моя Катинка благородных устройств? Если бы-бы... Ах, сколько ждать еще подводы с налогом, вечно подвозимой к заклону солнца?

Но и болтовня про себя (разве что пузыри разбегались по гнилой луже) обрыдла до рвоты. Подумал, что причитани-

ями похож на того хлыща, что привечал меня в Метаре, и разозлился еще больше. И почти уже выскочил из штанов на злыдней и что-то злое учинил бы, но...

Чу! Я дрожу до сих пор, вспоминая... я не поверил юнецки запылавшим ушам – как бы само светило тяжело пало на череп и расплзлось горячей лепешкой! – за хохотком сторожей, за тяжким притопом лошака по мосткам и скрипотелью тележки (ах! и сам я шелохнулся было облегченно, плюхнув лужу пузом абы жаба!), за брехотливым сверчком в кусте, позабывшем про осень, – расплеснулся знамый боевитый голосок. Как же?! Как же?! Как же?! Не их же очередь??? И так-мо кровь загорячила мне по вискам, что Катинкину смешливость едину и внемлил, абы колокольную святицу:

– Доброго дня, судари! Припасы вашему сержантелю!.. Ай-ай! Ей-глаху, судари, не лапчитесь! Ужо топорницы вянут без вашенных рос!.. Куда ли! Сей окорок гербовный! Порвете мне вощеванку... Ах, сударь, полно, ах!

А дале – пали на очи морок и сон, я крался-терся, драпался где-то, дрался-царапал, и чуял лишь святичный ее голосок, презвившийся финально в мышиный визг, достойный серосветного плесеннодушного амбара, куда я вломился сквозь запор-в-щепы за голоском ее, а развидел ее нагую покорную суть! Как же... и закличился, и кинулся на темно-го борова, монотонно ее кроющего...

И выяснилась в глазах – лишь выгребная яма, в коей при-

очнулся:

Смрад... парной живой смрад, в ком ты по горло, почти глотая, смрад, дна которого не знамишь, еле обдираясь пальцами за склизные корневища из стены, смрад в глотке пополам со рвотой, пропитавшей зубы, феторный дых в носу из собственного нутра, дриста и калые горошки в ушах, залепленных глазьях и волосах (это когда срывался с корневищ). Егда, грязно хмылясь, на тебя во имя Голоха опошевили нонный жбанец нечистот... Когда само течение дня ты меряешь сими корчагами-братинами (у разных бараков разномерны и уже знаешь все!), опошевленными на те со хмелого размаху, и жалишься к стене, нычешь дыхание, и по тебе, по власам, за шиворот живыми червями течет по тебе смрад. И одежка на те ожилась второй, смрадною кожей, под кою ты и сам гадишь в себя, абы в суму. И даже вонные мухи с отяжеленным брюхом, лениво бражжащие, мнится, тужко присаживаются на голову, чтобы еще испражниться лишку. Скоро руци ослабнут, и...

Шаги зашлепались поверху, брызнули грязевными кляками, и я ужался... задрязгся в бессловном плаче, заслышав тонкий предажий глас:

– А, Гэлька? Ну човты, Гэлька? Не скворчи, не вживай... Човты? Ще недолга, ще у Глаха бужем стольничить, ще... Анто Сержеца мово не трожы, лады? – лепет Щербы перетек внезапно в ерное скуление, душевой визг, и от пришедшего откровения я враз ослабил пальцы и плеско залужил в

смордную тугую глуть, нырнул по самы гланды, еще внемля сбивчивые перечеты Щербовой запутавшейся души: – Онеж стражец Глаховый, нежит мне, щитит, прегрешет ме...

А было так, вспомнил полыхом: занесся на едином дыхании, сквозь лагерь (где на площади разбили бивуак новобранцы, которым не хватило барака) – сквозь лагерь злостной кометою прохвостил, убивая поленья, проставленные сушиться, подрав растяжку со рваными чьими-то рейтузами, подбив чей-то не к месту выстуженный котелок, расплеснувшийся под ногу постной жижей... сквозь глаховый мат, примчал на наш со Щербой пост, истово шепча-плача: “Убью! убью, убью”, – и каждое новое *ю*, синевою вырывавшееся с сиплым выдохом, будто придавало сил. В этот миг – кажи-ла кормилица, предсмертие тако меречится ярко и ясно, – в этот миг внемлил все. Сквозь кровь в глазах и пот и оглушенное биение в ушах – я людей не видел и не слышничал, но внемлил-то все: как нехотя падал гландис с дуба, чуть косо кружа в стылом эфире на единственном в оперении листке, как расплеснулась от паданца мелкая лужа, окаймленная пеной, облив по зобу серую лягушку, чье горло тут же пошло радужницей; чуял, как сойка с оголенной липы расправила голубые плечи, готовясь чижикнуть сварливо через набитое горло; как тут же ревниво напружили лапы белки, ковыряющие поляну; осязал, как влага копится на желтеющих липовых сердцах, сливаясь в знатные тяжкие капли, таща на себе наметенную пыль с озимного поля и каких-то мелких

фузорий, знающих только о капле и ничего – о Голохе и трех его тетках-пророчицах; внимал кукушке, что на дальнем крае облесья затеяла кому-то отсчет оставшихся дыханий, запнулась, перечела еще раз раскинутую рядком паутину, запела заново; и запал Щербы чуял по дрожанию пола под его неустойчивым бегом из каморцы, по выметнувшемуся из двери заспанному сенцовому духу, а вот лепет слов его – не разумел.

И все сие счастье я готов был кинуть Глаху в глаза – в размен за червную юшку вонючего гада сержа, за клочья его черного тела, расчехвоенные по корытцам на гладость псарни, ибо только псарне, только волкоедам можно сие мяско, а даже вольным вороньям – ни. И чтобы каждый чернорвивый кусок, ще сочась юшкой и отвратно дымясь, каждый из сотенной мелкой порубки, – ще голосил и взвизживал, пока волкодавы ожесченно грызжут его на жилы и мозжевые костья. И чтобы...

А что с ней? Да не мог я больше считать ее за деву, ажже подает себя за наценочку, даже если заради отцова дела. Пускай так у них в Метаре принято у девок-то, ибо так шнырь-то тавошний (помните ли про жену купеческую?) и сказывал! Ах, но виновна в плотском обмане, и сожжена была бы позорно по милостливым Коголанским порядкам. А по местным-то порядкам – вольной воля! И я дрожал-дрожал-дрожал, вцепившись в коряги ободранными ногтями, и выбивал зубами боевую дробь. Ибо делала так много, знамо, и до ме-

ня, то лады, но не прервала и не сказала, – что же, вольной воля, вольной воля, вольной воля! А покалечил бы, поленом подручным залушил бы сержа-гада на посту ночном, сучком то в глаз ему бородавчатый, и колуном по черепцу, как по гландису гнилому, и войским воем созвал бы всех зверей и птиц и жучей лесных, чтобы сожрали к утру даже малые пятна юшки, даже запах поганый выпили, а кости – кинул бы в дозорный костер, что горит вечно, рассыпаясь по ветру пустой злой... и... бы...

...

Было холодно, и я ведал, что умираю. Я ныкался теперь, хотя и шатко, на некой коряге, нащупанной на противной стороне ямы, на коей мог сидеть, свесив ноги в говны, закинувшись спиной к шершавой склизкой стенке, скукожившись в сохлой сизой шкуре, как вяхирь больной, обреченно ждущий неясности. Но высидка не требовала хоть напряга сил – странное царье кресло приняло мою обмякшую фигуру как родную, и я дрожал бесконечно и мечтою ждал появления Глаха. И жаба рядом, что плюхнулась ко мне в выемку час ли назад и недвижно о мне бдящая, не была ли Глаховой посланницей по моей судьбе?

И когда слышались громкие шаги, такмо попирающие землю, что даже жижя моя дрожала вокруг, я ждал тепла и солнца, что эвонна щас Глах вытянет меня крепкой десницей к блестящим позвездьям, которые есть горницы Глахова высокого замка, но тень потяжелела и нависла горше и рогатый

великан в железосверклом доспехе, хохоча гнусаво, пнул в меня грязные камни, хохоча-хохоча рыкливо и жадно тебя под мошной:

– Зарыкался, петушок? Ща еще наосу тебе в рыло, где ты тама, а? Посижи, посижи... завтрама ще посластить запро-сишь, сосунок... коли жити захотишь... Жити-то хошь, гов-нешок? Аааа, сладко-мя! Ще оближешься...

И когда по векам, дрожливым стыдным страхом, да еще вдарила пахучая струя ссани, солонцою закапнулась вниз по губам – тогда очнулся я и вспомнил...

Вспомнил очень просто все: как вылеживался-терпел, но обезумел, выскочив из канавы, воскочил запальчиво прямо в амбарку, где серж уже громогласно впарывал Катинке – за *гнильцу* в сладких початках, и она давалась покойно, без тени сласти или стыда, а так пусто стояла, будто и не тут. Потому что сама-разумница закупила с гнильцой (сказывала же истории!), чтобы оберечь стотинку на жертву Метаре. Потому что издавна так завелось в Метаре, даже почиталось обычаем, и только иноземный дурошлеп, как тот папаша швейных близнецов (ну, Эл и Пирси, что ли?) или салага аки Гэль (и это я, что ли?), могли ерепениться. И что, правда, побежал я защищать? И Щерба – ах, дурик! – завопил истошно о Серже-защитнике и взогрел меня чем-то тяжким... Ах, пусто-меля, чтоб его! Кто же знал-то, что он в довольстве и счастья алчется от сего непотребства?..

Сейчас, вспоминая, опять я как бы видел наши со Щер-

бой дружные разговоры, но именно видел, а рты-то как будто разевались попусту, и никаких слов не выходило, только ветер пустой. И опять утопал в Катинкиных глазах, но не в голубизне их, а в пустоте, и почувствовал вдруг, будто лишился тела. И откуда-то из-за тумана доносились ще хохочущие слова демона:

– Жити-то хошь? От-же кинулся, горячешный! То охоло- нись-ка! Скули же, гов...

Но были то пустые слова, лишённые силы, только буквы, куражно выдохнутые в пустой воздух, как сухие листья. Как будто сдутые с той давешней вывески? И ничто не было уже выше – пустота одна. Но внутри меня – внутри-то меня Катинкины глаза, как были они голубыми до вчера, подожгли будто мою желчь. Или наглый хохоток демона ожег меня так? Но через сон услышал я чей-то еще глас – али другого, *дружного* демона (говорила кормилица, говорила!), али свой? – натужный, но ровный, как вещей гул в страхоморном ущелье:

– Азм. Азм бу вживу. Азм бу вживу. Азм бу вживу...

И увидал я себя самоё, как бы сверху, как существо в яме дернулось, абы Голохом обуянное, извернулось, цапнуло жадно бурый ком жабы, соловевшей рядом, и заживо зажевало ее, дергатную... чмокая, отожав лапы сперва, а затем и всю до брызнувших мозжей, и все-то – не отрывая горящих глаз от пленившего меня демона. И слюнясь нещадно, грубо тоже хохоча, выплюнуло какой-то хрящ в сторону неба. И

демон перекосялся, атоль жирный хрящ ему в поганый рот встрял (ха!), и поперхнулся и закашлял гнилой слюной и завыл, ибо почуял мою неистребную желчь.

И мои девять душ (али сколь там Голох ведаёт? хотя бы и девять на квадриге!) – почуяли ли что? Да неже, пустой токомо вкус какой-то на зубьях, да гадко затеплело внутри, и я... вернулся в себя. И сидел, порыживая, на царском своем корневищном кресле в говняшной яме, но боле никакие поверху не маячили рогачи, будто начисто сожранные открывшейся мне пустотой.

И тогда, абы жаба сам, абы ее поднабравшись опыта, я скользнул глубже в теплую жижицу, щупая ногой коренья, – выживать рассвет.

Хмурое утро и тучи свиты в некий темный глаз – судачат, так герцог Равах на вражьев ворожит, и в свинцовом жбане колдовство свое разводит! И то верно – тучи тодысь и сложатся в зенные бельма, то-то выкружаются пузырями! Брр! А что он зырит-то во жбане своем – потеха! – вожжевые еле правят обоз, а пешкодралы как я или Щерба чапают вяло, месят черную обочину в глухую грязь и толчевают закосившиеся в колее телеги. Только слышатся рваные оклики вожатых да хлысты по драным хребтам, и солдатья божба и храп лошаков в ответку...

Да – как и не было ничё: утром дневельщик (сквернавец, что давеча ще с дружками метал в меня нечистотами) кинул

мне чуть не в голову лестницу, бормоча что-то про сраное комендантово отродье и *тесак-бы-в-спину*, и едва я выбрал чистые манатки (опосля хладного ручьевания! ну а манатки как чистые – тоже чьи-то гнилились на складе, даже и вош-ные, но благоднее новых!) – вот уже зудел рожок на зорьку, трижды-вяло крикнули Раваху благодать, и всю кодлу наш-ную устроили и погнали укрощать неких болотников, возму-щенных добрым герцогом. И вот – чапали... кудать, когдате, все безвестно было, кроме прерывистой мороси, да водицы в рваных сапожцах, да рыжей соломы, востоптанной по обо-чине в черную грязь.

Я, по правде сказать, не думал много, пусто было и гад-ковато. Но как-то плыл мыслями поверх черной дороги, сам что ли как темное облако – а потешно! – все примечая: и неприбранное с луга худое сенцо, зазря запорченное, и скверные глаза крестьян в деревухе, через какую пропер-лись, растерев еще зеленевший щавелью выпас в черную негожицу, и помятых беспросу девок, и расколотые двери погребцов, где передовые сыскивали явства. И гниль и хо-лод, растекающиеся из тех погребцов, говорили мне яснее ясного, что отряд нашый приворожен к царству мертвых, приговорен стать сладким мясом для болотников, за все наши над Голохом насмешки, и никто этим черным путем не пройдет назад.

Ай ли, гой-еси!

– Эх, навались! – гаркал я Щербе, толкая очередное уша-

танное колесо. И вытягивался во фрунт со всеми, когда Серж протопывал мимо, разбрызживая грязь увесистыми сапожищами, и смотрел косо в моросливое небо... и опять громко вчитывал Щербе: – Эх, навались же, сучец! Давай подтяживай! Задцом шевели! – бичевался весело и едва не укашливался смехотцой, когда отребье воскруж скалилось дружно-зло, а Щерба сильнее дрожал узкой задницей. Ах, то не была мстивость, просто не было больше друга, а ще один потешный смерд копошился круже, просто я так переживал мертвое время, просто надоть было развлечение для сего отборного смрада с их подлыми тесаками, абы никто не проведаль настоящих моих раскладов. А так – ежели и чуял, то жалость только к позавчерашнему себе, который был экий сосунок, что стыдно, но счастный сосунок! И знамо было, что – через простужный холод в груди, когда на вздохе, – *щас* можно было только щупать грязь замерзшим носком, вылезшим из сапога, и гоношить Щербу, и ожидать Глахова подарка в жизни, которую нельзя изменить...

Но ближе к вечеру... Отряд наш оголодалый почти уже встал неряшливым лагерем, но подоспела герцогская ратница и выгнала нас с насиженного пригорка. Что же, почапали дальше, и то ли по раскладу, то ли по потехе напоролись за буковой рощей на неразодранную ще деревню – и гнилой нашный строй с гиканьем разломился на ватагу сволочей: кто погнался за квохотной наседкой в кривой дровяник, давя кладку в желтки и попутно голошась, кто за вживким

бабьем по хатам, отбивая мозги мужичью. Сам-то я, было заставленный мстивым воззжевым сторожить телегу, плюнул только гаду вслед и тут же натырился по околице, уходявшей кривою тропкой за косой плетень, будто бы в сосновик, не особенно глухотный. Но попал на затейную девчонку. Верней-то, услышал впервах ее (али ея, так ли грамоточнее?)... услышал смертные визги за хилой избушкой, и потом сбежала как-то и подрала прям в меня, и застоилась в трех шагах, дрожа безнадежно.

Не особливая, но как молвить? Худая и смердная, как все в этой стране, и с липкими космами вместо связных косиц, и с грязными коленцами, и со свежим, розовым ще бланшем на щеке, сильно бросавшимся в очи, аки пимпернель. Но то – земное. Но глаза... так ли живописала мне кормилица глаза Глаховых страждиц? Тех, что живны живмя среди люда простого, а он ихними глазицами глядит, ежели хочет, на наше бедственное бытие. Глаза большие, и обыкно голубые, но темно-фиалковые, коли Глах вникает через них в наши грехи. И каждый гадский неглах, каждый нетопырь щекастый норовит красоту их отнять и выесть, а она и не их, и страждутся те девы всю короткую жизнь...

Сзади ней уже несся по воздуху сыто-пьяный гогот и кабаневый, гонный пот будто предшествовал появлению ейных угнетателей. И девчонка, так зацепившись за корневые витки, бухнулась в бурю мокрую траву на колени передо мной, не царапаясь и не просясь, а толь поклонила голову и отком-

нула вбок темные космы, обнажив худую шею над острыми позвонками, уходящими в грязную робу, и пискнула что-то на своей мове. Просила рубить? Еще пискнула – что-то там заради Метары. Може, она Метарова страждица и была?

Но я уже шагнул ширче мимо нее, вытягивая со свистом ноженец, ибо увидел с превеликой хвалою сердца, что два вепря, охочие до ней, выказались Сержем и младшим покрывником, вечным прохвостом тойной сволости. И описал я клинком яркое полукружие, будто оторачивая смертную делянку, заморозив их отяжеленные толь-толь испитым бражием взоры, полные недоверия моему мятежу... и ложно махнул на покрывника, и тот отскочил запинчиво, а я легко упал-перекатился, да под опешившего, грузного от сидра Сержа, и соднизу ткнул ему бодцом под доспех и выпрыжнул... а-а! – покрывник уже напал-таки и тоже проколол вроде бы бок (чудно, и не больцевато!), но было некодь отшагивать – где-то огромная толпа взревела за хатами, – и я прямо пошел боком на меч покрывника, не давая вытащить и чуя его ржавый желчный хлад, и думая: может се и езмь последний вздох? Но что же ты должен делать, если уходишь – только быть как воин! Как отец погиб – с молитвой и во-ем! И так я навалился боком на покрывника, зарябившегося вдруг густым потом и вцепившегося бесцельно в меч, и ноженцом просто как петуху, за которым тот курахтался от обоза, как горластому петуху перерезал ему глотку, и отшагнул от падали, чуя, как рвется бок... в фонтане и егожной

гажей крови и, от пояса родничашей, своей родной, тойже гневно-бурой... шаганул к чуй-стающему на колена Сержу, и выдал-та по харе, спеша, пока была сила в кривом каблуке, и споро-споро, ведомый кровопенным туманом в голове – ахах-ха! ааа! – срезал с черта защиту, вскрыл мерзкие волосатые ляхи во гнойных-то прыщах! – и отполоснул – а, ору-то сладкого, ору!!! – в три рваных удара отполосил чертов палец и а-а-а! так суванул кровулину гаду в прямо в его ротозейную щель, сквозь пробитые-то зубья, чтобы не орал-то, и вбил еще последним ударом пяты ему в глотье и что-то кричал, причитая насмешно:

– А!!! Кахто тут петушок! Кахто сосунок! А!!!

И подошвой, тертой уж до ступни, вбивал/втирал ему в гнилое разгубье всю собью вытекавшую из бока желчь, покаль не увидел толпу мужланов-болотников, мчащую за тремя расхрыстанными содатиками, покась не увидел, как первого токнули глупчика Щербу, аки вот каплуна, тонкой вилой, пока не прошлась толпа топотом по двумцам обозникам и не распластала их под лапотцами, и пока не киданулась и до меня черным роем (а я что? да ждал просто! от мужичья ли драпать?), пока не закрикнула сзади девчонка на дичьей высокой мове, отгоняя глахоборов, и пока не проголохотала толпа мне за спину – на щемные крики, визжевые крики ещё резаного отродья за бугром, где самый обоз, пока не глянул прощальниво в темные глаза девчонки-Метары... покаль не сплюнул ненависть в сырую лебеду, и не поковылял, стражд-

но зажимая бок, в сторону потерявшего солнце леса...

...

...так я и брел, и не помнил толком пути: где-то перетаскивался через водотечу и гробанулся – ах, да тело заплелось ногами! а очумился уже когда рваным боком да на обломанный стволец, и взвыл аки волк на красную Луну...

...где-то шагал на кочку, поросшую рыжим мхом, и с лишайной бородой на холодную сторону, и так походила на гнома-кузнеца из войскового стана, что загляделся изумленно – да тут-то он откуда? – и промахнулся сапогом, и снес кузнецу пол-хари разбитым каблуком и угодил еще в яму по колено, так что и лицом приложился с разгону в вялую лужицу с водомерками, то-то и воскрес!..

...и шумели вдруг в голове подробности схватки: опять я подкатывался под сс-сержа и щипал его, кк-квохчущего, аки кочета, и опять девчонка-Метара смотрела на меня молчаливыми фиалковыми глазами, расцветшими на лугу...

...и, поскользнувшись на скользких шишках, ткнулся вдруг лбом о худую сосну, сам набив знатный шишак, но хотя бы опомнился и оглахнулся: что же, закружился? Опять вон водоточина и кочка вроде та же, облысенная мойжим сапогом... что же?..

...и глахнулся опять, так губошлепнулся прямо в камень невидный, что зубья врозь...

...и лежал плашмя в холодецкой луже, пошедшей краснотной кровушкой от моей бочины по зеленой взвеси, и

обдирал кровящими зубосколами подмерзший брусничный куст, и было горько в гортани и горько в боку... но вроде ободрился и что-то стал прикидывать: не напролом, а надоть водоль водоточины, токоть не к селу пограбленному, а в холм, и там бы поляну сыскать, да чтобно ширшие листы подорожника, взрослые на осеннем солнце, насобрать и обложиться, где рвано, и може до утра докимарить, а там...

...еще сидел как-то, свесив ноги в ручей, пошедший песком, передыхивал... видел там мелких уклеек или как там, но поди-ка... а разве вот? Курткой пошел как бреднем, и выпростал-таки на бережок пару пужливых серебристых рыбиц, и пал на колени ловить их, скользких и прыжливых, и так и закусил, в песотне скриплой завальянных, с башкой и нутреностями (всяко слаще жабы!), и заел еще мерзлой брусникой, и порадовался солнечному лучу и ухмыльнулся фиалковым ясноцветьям, опять глазающим на меня поверх опалой листвы, и пошагал опять, зажимая ноющий бок...

...и вот уперся в темный совершенно ельник, откуда лилась журчливая водовода, и так решил: таки надо в холм, искать истоку, а толь на вершину выйти, должнать плоская быть и с полянами, – и пошлепал прямо сапогами по ручью, а хоть и холодно, только побережно и вовсесь непролазно, но ох! в сапогах и так хлюпица после болота, и палец, что выбился, больно уж мерз...

...и вот сколько брел? Было темно в ельнике и холодно, и куртка влажная тяжело холодила, и ноги сводила судорога, и

уже знал, что никуда до света не добреду...

...вот до того камня...

...вот до того ствола поваленного, еще лезть через него как?..

...вот до той расплеты, и еще не омут ли?..

...вот до корня, торчащего поперек...

...ааа! Ааа! Увидал вдруг волчьи глаза, злоблестючие, в ивовом кусте – видно, водопоился, но тут же ощерился и зарычал и кровушку мою почуял, по брылам заслюнившимся чуя!

И я, голохаясь и брызжа, полез из ручья на вязкий берег, и вверх под елки-иголки, малость расступившиеся, но куда-то в совершенную глахову тьму, и крутился по мхам-лишьям, скользя левой совсем порвавшейся подошвой, чувствуя полную грязь в пальцах, и вжичил кладенцом налево-направо, отгоняя злостные глаза... ах! казалось из-за каждого кривого ствола заблестали. И слышал, да, волчьи взывы позади, и слышал почти их мягкий ход и чуял почти зловестный их дых, ибо ждали моего падения, чтобы кинуться и горловым яблоком моим поживиться (говорят, Глахья сила в нем!), и как вот было смертно-холодно только что, так вот стало смертно-жарко, и бок запылал, и дыхание закипело белым паром в ноющном воздухе, будто ветер бился, пойманный в этих елках... и сердце рвалось, как я рвал куда-то в холм, кружась и отмахиваясь, то и дело шлепая кладенцом по тугим стволам, так что рука онемела держать. Но держал

крепко и как-то бежал, отстранившись от тела сознанием и зная, что скоро паду на коленца, и в панике беспомощной. И как спастись-то, завиться ли в дитячий клубок? А тело-то – не! крутилось еще, пиналось и бежало, глаза зыркали суматошно, выщипывая, куда под какие ельи лапы занырнуть, куда проход видится, где чуть светлится что-то надежное во всей этой тьме.

И вырвался вдруг – ах, Голох мой! – на поляну широкую, где летом цвел дербенник, полегший уже вялыми ветлами, и во центре высился тотемный кой-то столб, немного все же наклонившись, и я знал, что выпал на капище чье-то, и волки завывали обиженно назад, ибо не было им хода к людским богам! О Глаше! И выбросил за кусты кладенец – кто же к богам с угрозой? – и рухнул, обессиленно плача, по-телячьи мыча уберезженным горлом, обнимая столбину, все ее росщепы-занозы оглаживая ладошами, будто только и живыми из всего моего молодецкого тела...

...

...очнулся, и не знал, где я. То ли на небе, где Метара дает вечные танцеваны? Ах, как была кормилица права! Ибо был я вроде еще и у тотема, чувствуемого спиной, но не видел леса, а будто бы в широком зале со звездами на потолочье, и дивные эльфы танцевали вокруг, с послушными светляшками в руках и на обручах лобных, и вышла вдруг царица, по ширшему обручу судя, и Луна, бывшая в тайном облаке, вдруг только в нее одну ударила лучом, и увидел я

пред собой ее белое лицо, нежно-овальное, само как соцветие ночной лилии, где и уста вязкие, что губят доверчивых молодцев, и тонкий царский мег (ах, ну нос по-человечьи!) аки волшебная тычина, и черные глаза, где тонут каменные даже города... черные даже во блестящей Луне.

И коснулась щеки моей, грязной-то, в струпьях от комарьев и скверной лагерной бритости, своей белой прелестью, и обняла голову мою мягкими ладошками, нежными как младенческое счастье при материнском слове, и шепнула что-то на ухо – что-то волшебнo-эльфийское... и Луна пропала, и Она пропала в тот же миг.

Но будто жизнь заново хлынула в меня, вымывая всю жабыю пустоту, что заполонила давеча мое нутро, и все тело ожило было бодро, и отозвалось немедля каждой болящей частицей, так что весь я стал от пяты до зубца как будто из боли. И думал только: ах, зачем Она оживила меня, если оставила в этой боли умирать, теряя себя лист за листом на влажном ветру?

Далеко за пределами чистого круга завыли волки, кто-то из эльфов, смеясь, кинул в них светлячковым ворохом росы, и в распеленутой музыке звезд – которую я вдруг услышал! – я лежал и умирал. А вокруг, иногда почти касаясь меня рукавами легких тайных плащецов, танцевали эльфы.

4

Вот так я и попал к Элизеру. Вашему веку – и особо вам, питомцам Метары! – имя его известно широко, могущество его легендарно. Но не побоюсь признания: я не любил его тогда...

О, я был благодарен до поры до времени за спасение и все такое. Заискивал его похвалы, как ищите вы благосклонности старшего ментора, ждете тщетно признания ваших успехов. Но был он слишком непостижим для детского разума, а можно ли любить непостижное всем теплом души? И потому прошу сейчас прощения. За то, что Элизера – не объять словом. За то, что будет изображен он весьма отдельными гранями, как... знаете? Как ваше изображение в дражайшей призме на скоморошной ярмарке, пошедшее цветными лоскутами! Но жизнь прожита так, как она прожита. И было бы прикрасочно для меня рисовать *того* Гаэля более сметливым, более правдивым, более благородным.

Но достаточно сказать: я не любил Элизера тогда, но люблю сейчас.

Я спохватился от жаркого света, так еще и бывшего в очи осквозь крашеную ситцевую занавеску, что тело все, опережая осязанья калечий, будто наполнилось желтым пресчастным туманом. На падужке сей вышилились золотые затейные

руны, доподлинно живые – аки рыщущие по высокой волне паруса-полотна Коголанских шебек! Славливая вздохи ветерка из-за фрамуги и расплетаясь затем по комнатке яркими жовтневыми выдохами...

– Ах, вы проснулись, сударь! – вознесся от угла (верно, я и спохватился ее шагов?) чистый девичный глас, тоже солнцедарный, желтый и яркий, как медовый одуванчик. – Но остерегитесь, пожалуй, резкостей, вы еще недостаточно славны!

Вольная высокая речь, ах, не родная Коголанская, но ей же штильная, какой в Метаре оттоль прибытия не слышал, причудила, будто и в Элизиуме уже? Но нет – аах! Болесь в боку потянула желостью при первом же порыве к Ней... и я неуклюжно заерзил вполоборота, морща напотелую простынь. Но тянулся-тянулся через солнце в глаза, радостно, и – ох, Метара! – тщась-таки углядеть заботницу и постыдно краснея от немощности. И еще зардел боле, когда дева (cher grisette!) явилась в мой кругозор.

Ах, но ее звали Летта! Так она открылась абе (ну, немедля), но имя ее – будто бы я почувствовал ще при первом вздохе... Почувствовал! Ах, что за слово! В легкой зеленой хламиде с открытыми руками, сугубо домашней, и столь нечинно явилась передо мной! и руци – малые, загорелые, яркие, что плоды арменики, и – знамо! – востоль же нежные! и черные развеинные волосы, но не в публичном бесстыдстве, а в шалом ротозействе лета и зефира! и тож зеленые глаза, ай-да заманные в поляны, где под нижними листьями сокры-

ты сладные ягоды полуденицы.

– Ах! Не извольте озорничать, сударь! – она уняла мой порыв, тронув тихо за плечо и пряча нежность-сладость за качнувшимися ресницами (ах, рифмическими!), но улыбаясь почитай несознанно. Ах, и голос, певчески славный, воспрял еще на диез выше. – Пожалуйста, мы не чинно знамы для нежностей! И рана ваша, как извольте чувствовать, не столь еще ладна!.. Будьте же ласковы! – ладошка улыбнулась ще открыто, ах, всей дивной сутью, легким обликом пересекая солнечный луч, и будто солнцем же разбрызнулась... расплеснулась на берестовой столешнице под ситцево-золотым оконцем россыпью синих цветиков из цебарки, что тихонько звякнула затем у ее ноги.

Ах! Медуничный нектар, разбежавшийся по комнатце, так сладно защипал под языком, что я, кто по жизни и не говорун дамский, кроме детской болтовни с сестрицей, не мог теперь хозяйку послушаться, сам-то, аль садовый соловей, заслушиваясь себя:

– Ах, но какой вы фамилии? Вы такая, ах, если позволено молвить, душистая... Mademoiselle! Вы сочтете меня, ах... un mafle, insolent, что прежде представления внемлюсь о вас. Но такая прекрасная, ах... rose en fleur, поймите, я чувствуюсь в саду, ах... знаете, le jardin d'Éden, и не можетя мыслить прочее, едва ль вдыхаю нежный воздух, которым, быть может, тремя вздохами назад дышалось вам! Ах, вечное расстояние вздоха! А ваши милые локоны – простите, что нем-

лю о глазах ваших, но, *voyez-vous*, вы не смотрите! Ваши локоны – ах, суть вечный водопад Стиксеи, богини клятв, которые...

– Ах, сударь, вы немало кажете образованность! – смеясь, отвечала красавица, наконец оборачиваясь ко мне: ах, даже блестяли веки! – Но поклянитесь мне пока слушаться моих врачеваний! *S'il vous plaît*, добрый рыцарь, вернитесь на правый бок! – И, сама едва веря себе, но зеленясь глазами ярче эреландского колокольчика (ах, помните ли, учили мифические цветы в ликейоне?), склонилась ко мне, абы фея, и тепло целовнула висок: – Меня зовут Летта, сударь. Ну же, *s'il vous plaît*!

– Но я, простите, – я отвечал, сконфуженно открываясь ее руке, – вовсе не рыцарь. А был простым солдатом у герцога Раваха... даже, – я смущался обмануть дражайшую сиделку и в малости, но лепетел сущий вздор, – даже просто лагерщиком, знаете, не латником и не возжевым... Но вы знаете ли романский? *Voyez-vous*, я отстал от корабля и потерял все... а! – я заворочался трепетно, чуть взокрылась налипшая повязка. – Но вы будете меня презирать, но в трактире, понимаете... и не было мне другого хода действий. Ах, меня зовут Гаэль, Гаэль Франк. Мой брат, *mon frère aîné*, он небольшой сеньор, а я...

– А вы, *mon chéri*, – сказала она с необычайной простотой, смеясь моему лепету и переменяя компресс на ране толь бережно, что я более не чуял и ссадины, только прохладное

жение, как при прикосновении к Глаховым *духам* в церкви, целебное и забвенное, – пожалуйста, здоровейте! Мы живем здесь легко, вы увидите, но у крестного множество свитков и даже folio, и он учил меня буквочтенью и голосу. Хотя, – она воздушно рассмеялась (ах, юница-коголанка, не отличить!) – на пальцах чтимо, что я ведаю по романски! S'il vous plaît! – и, дразнясь, выказала язычок, розовый и нежный, как лепесток, и опять я разнежился в цветочном аромате ее выдоха...

– Вот! – воскликнула через минуту (али через вечность?), защитывая меня мягким льняным покровом. Но ей же наклонилась, и щекотные локоны зарадостно упали мне на щеку... ах, будто дружась в путаной щетине! И защепетала, по воздуху приглаживая над раной, заговаривая зудящий отек на латейной речи (ах, праматери языков!): Fiat firmamentum in medio aquanim... И зацеловала висок, доле и слаще: – Спи-те, мой рыцарь! S'il vous plaît!

Дивно создана человечья память! Когда бы я ни вспоминал Фанум (местные важили так Элизерово капище), то воскрешались я и Летта, беззаботно кружащие по запойменному лугу в те краткие дни. Краткие ли? А перебирать, так и несчетно их было, проискривших через широкий брод, но все закрутились в бесконечный яркий свиток, где взглянешься хоть в малую искру – и вот она обретёт звук и вес. Не так ли все мы – искорками хранимся во Глаховой памяти, и когда вспомнит он нас, назовет громогласно имя, вот и ожи-

вем небылицей?..

– Гаээээль! – Летта мчалась к лесу, к нашей тайной клеверной полянке, и Белка, ее пегая кобылица, фырчала смешливо и той-раз косилась воспать, где я сам хохотал, разлеженный, не желая шпорить молодца Алтея.

И вот – лежали-обжимались уже в мотыльковых клеверах, отмахивая пчелок и тяжелых шмелов, приглядываясь, не прямятся ли лепестки к бусенцу (а то и неожиданному *прóливню?*), лениво выбирая лучшие в котомку на домашний отвар, но главное – отыскивая счастливый четырехлистник. Ах, это Летта когда-то кажила мне, кружа меня глазами и наивничая, подобно любой деревенской простушке:

– Ведаешь ли, что где феи в раю, знамы четырехлистники? Ибо любезный цвет Метары! Ибо заманила и Глаха: подмешала в травный сбитень, и возлюбил он ее торжество жарче меда. Так говорят... – и она смеялась, и щипалась, и шептала еще (пословно вспоминая с Элизеровой книженцы?): – И ведаешь ли, бо четыре листка суть четверик жизни и света, но толь, не сорвав ще, завежи, где часть чья, ибо та требна, куда спешишь путь. А коли съел целиком – то залежишься тут со мной навеки! – хохотала, целуя мне веки, щекочась, сама как медовый цветок, и дыша тепло: – Ну, Гаээль, проникни меня!

И Белка с Алтеем то фырчали в сторонке, губами тормоша клевер, не мокрый ли от росы, то, пожевав кратко, вскидывались челками, кабы слушая хозяйскую возню. И Алтей, ах

жеребчик, тож начинал трясучить главой и гугукать, и Белка взметывалась обратно в луга, дразня дружка ржанием, ибо знала отменно, что круглый день – они вдвоем-одни в Элизеровом раю, как и славные всадники их.

Ах, что еще? Еще Летта знала немного ведовство – что-то Элизер ей давал учить, как тот заговор воды, или заговор земли, или ветра, или неба. Ну, чтобы небо было ближе, знаете? Что-то ведала про растения, как вот клевер, что-то и про фей, которые от цветов, кажут, и произошли. Ах, и гостила иногда у фей и те тож кой-то знайство дарили! Но больше любчила пернатый базар, и так славно пелась голосами их, что в любой раз, когда наигрались мы друг другом и влахались отдохновенно на горячей мураве, зачинала дудочкою свиркать губками, приманивая то зябушку, то гузочку, то ивожку, и те по-две и по-три слетались к ней на протянутые персты, блестящие колечками, словно к старшей сестрице на зов. И что-то чиркали ей на ушко, а Летта – еще свиркала в ответ, но мне отговаривалась, что и не язык, а лепет лишь детский, и надоть *видеть*. Иногда серьезнела и *видела* меня тож: брала тихо голову мою в мягкие клеверные ладоши, и теплым солнечным лбом, чутко щекочась, касалась чела, и будто слушала, и смеялась иногда:

– Ах, но ты такой мальчик!

– Ах, но мнится мне, – когда я обиживался, то вечно пере-скакивал на возвышенный тон, – что мадмаузель не вышечно старше! Но и мечом могу, и знаю искусства...

– Ах! – вскидывалась она. – Расскажи комедию, мне любви такие плутни!

И я, путаясь в старинных произношениях, тщился припоминать ей что-то из Аристофена или Плавтуса, что видел в Коголане на соборных пьяцеттах, когда, ах, прогуливали вечерние посиделки, и крепко-то получали затем деревяшками по пяткам, но все же прогуливали опять, ах, и казалось мне, что я и правда очень взрослый, что молодость была давно, а теперь...

– Летта-Летта, – лепетал я, ловя и целуя ее кудри, взмывающиеся надо мной как будто в потоках смеха, – но мне верится, Элизер благоволит мне, иначе зачем спасал меня в лесу? И не откажет...

– Ах, нет! – хохотала она, – Гаэээль! Ты мальчик еще. Но не сердись... – и сама целовала быстро-быстро, запрещая протесты. – Но поведай...

И так – с луга доносилось довольное ржание Белки, а я переводывал ладушке-Летте обычно ту сказку, которую любила. Вы знаете! Где дочка горшечника смело одевается юношей, и на рынке бойким язычком привлекает местного тирана. А тот, понимаете, переодевшись кожником, развеживал на рынке сплетни о себе – и то-то голубоглазая дева ему нарасказала! И милый мальчик (кхм!) столь-столь его привлек, что начал обхаживания, и девица сбежала, потеряв башмак. И как потом всему мальчишью по королевству меряли башмак, но не сыскали! Ну и, вы знаете! Потом, ясен-

но, отец-горшечник стался главным горшечником общины!
Ха-ха-ха!

– А потом? – спрашивала Летта, опять целуя, медленно и нежно. – А потом?

Хотя и знала, что тут комедии конец. Но так волновалась сей выдумке, как будто *потом* – главное, что должно сбываться в сказке.

А для меня не было никакого потом, а было единое сейчас – синее небо в облаках, опустившееся близко-близко, сладкий клевер, тяжелые шмели, пролетающие прям-над глазами, и теплое воздыхание Летты прям-в ухо (и с каждым дыханием какие-то прядки ее волос взлетали, видимо, от счастья в воздух и щекотались обильно), и – вдруг по лбу! – шершавый язык Алтея, вернувшегося с победой и благодарящего хозяина за столь счастливый день.

Раз-то визитовались мы и в Метаре, но кратко. Я и не запомнил ничего, кроме обильного рынка (и кривых деревянных тротуаров, проложенных над грязью!) – и потому лишь, что Летта блаженственно-долго выбирала и рядилась за ситец. Я же скучал сперва в лавке, слоняясь меж распяленных напоказ полотнищ, думая, что бы (может быть, а?!), предложить ей ко свадьбе, но не решился прерывать мою Летточку, лопочащую с хозяйкой будто на неизвестном языке, потом вышел к воздуху и глазел...

Оказались мы почти у края невольничьей части, где про-

дажных выводили напоказ, и не девки даже, наохренные и наяхренные для пущей ляпистости, выводимые в блестящих ошейниках, задели мое нутро до желчи – что мне, если была Летта? – но сущие вьюнцы, с недозатертыми синюшными побоями на боках, с разбитыми коленцами, заплаканные и озябшие... бывшие ще давеча чьими-то свободными сыновьями? Хотя и язычники, но как же так?! О, Глах!

И кто рядился за них? Счастлив был смазливый мальчик, выбранный на двор богатой вдовы для утех ее жирных лях, ибо наче-то – прямой тротуар к содержантам борделей для омерзней-Сержебродов... ах! Это первый раз, пожалуй, когда я вспомнил отрока-себя и молча зашепетал губами благословение Метаре. Ибо, коли бруманками ея спасен, то ели воля? И уже не ярился на судьбу, что не сажан был чернобородым комендантусом на почтовый барк в Коголан, что зацепил смерть, что не имел начертанной служивой стязи, а только – здесь и сейчас – благодарен был истово, что не втуне сей рабской загороды мятусь душой, а со живой стороны только внемлю, молча кутаясь волчьей дубленкой... и так-то скулеж их душу разъел, что и молиться перестал, только кутался зябче.

– Гааэлль! Спешим – Летта выпорхнула как весенняя ласта, как музыка, как удача, но долго ще я молчал угрюмо, пока Алтей, тож фырча, месил недовольственно бурую грязь... вспоминая потерянные глаза мальчишей, будто черный демон выпил до дна их души. О, Глах!

А так-то – в Фануме царила вечная весна. Стоило скрыться в Элизеровом лесу на пол-лиги, наверно, где не было людского лишнего сглаза, пробраться по сушей торопке от южной закраины безмерного леса, и начинало – ежели Элизер обважил тебя дотоле вещей водицей! – странно двоиться в глазах, будто слезкой прошибало... и надо было править тверже осквозь сей солнечный блеск, и вот уже галантусы выглядывали по бровке, и жарко становилось в накидке, и Белка с Алтеем радостно фыркали, нюхая райскую зелень, и прядали ухом на жужжащих мух.

И когда Летта остановилась *на бивак* на восхолмье, которого я не помнил... и вид открывался на чудную долину, но что за дол? ах, так был устроен Фанум, что были *выходы*, а были *виды*! А Летта сказала, что знать не ведает, что надоть спрашивать Элизера, но и крестный не помнит всё, но какая разница?! Ах, но как же, отвечал я, почему не разница? Если такая божеская делянка та долина, то как попасть? Но зачем, говорила, Летта, если это только картина? Ах, как ты несерьезна, сказал я, целуя ее и чувствуя, что душа теплеет наконец. И что, сказал, когда же мы поженимся? Я хочу быть с тобой вечно, и мы поселимся в той долине (Элизер даст нам волшебный посох в путь), и будем счастливы и беспечны до конца времен. Ах, ты смешной, покраснела она затейно, расстилая покрывало, но проникни меня! И еще, сверху нас накинула как бы сетку, воздушно-зеленую. А зачем? Ах, Гаэль, ты ничего не разумеешь о волшебстве, но шепчешь я

краше солнца и луны? А если кто узреет меня, из магов, вот хоть кажут герцог Равах изрядный маг-чернец, то похитит и как ты защитишь, глупый мой?! А так сетка укроет нас, и будем мы в их глазах колыхающейся травой, пока не кончится наша любовь!

И так, правда, когда изнеможенные уже былись, когда Летта заснула, обнаженная и, ах, в брызгах моей любви, сияющая как солнце и луна, и черные ее волосы пахли медом как волшебственная трава забвенья, то над чудной долиной вдалеке загустело небо... и я было подумал, разглядев далеке очерк замка, а не на Метару ли смотрю?.. и тучи взвились над замком, как бы и впрямь чернеца душа, и забило солнце алым лучом сквозь прореху в той душе... а может, и не солнышко уже, а глаз его кроворизный? И так порскал по холмам и долам, то ли врагов полоша, то ли что, но Элизерова зеленая сеть хранила нас, и через несчетность тревожных выдохов моих (и Летта даже жалась во сне ближе и губами искала) темень над замком то ли, а то ли просто над скалой чудной? – темень рассеялась, и опять было теплое солнце, лежащееся отдохнуть в зеленую долину, где ручей блестел, как несбыточная слеза счастья.

Элизер!

И первое впечатление всегда, как старик грузно ходит по комнате – в пестром парчовом халате, вышитом жар-птицами, серебряными единорогами и прочими легендарными живностями, и яркие бока их перевиты бесконечными лентами заклинаний на неизвестных мне алфавитах. И с колыхающихся складок – звери сии то и дело косятся на меня вспыхивающим зраком, ленты те будто выются всерьез по комнате, и самый эфир дрожит и мерцает всеми пылинками дальних стран. И где сейчас прошел маг, выдохнув неровно, оживают минутными вихрями бесчисленные *complétive sujets* его воспоминаний.

Я сказал старик? Ох, стариком он не был, но я сам, быстро выздоровев, *бысть* юн и беспечен, и любой прошедший (проковылявший!) дорогу жизни более, чем на треть, уже казался мне посланником смертных сил! Для чего, вздыхал я тайком, ходят среди нас сии старцы, неспособные насладиться счастьем текущего мига – смехом смуглянки за окном, запахом свежего хлеба с кухни, гладкостью молочного яблока, сжимаемого в кулаке, вкусом ручейного воздуха по весне и видом самого-себя-молодца, ладного и складного, в волшебном зеркальном стекле? Для чего мучают нас они разборами минувших бед, сомнениями в будущих наших победах, веч-

ными советами не к месту в юношеских делах?

Но Элизер живо охолонил меня. Боже мой Глах! Если в ликейоне незадаром дразнили заумником и отмечен бывал громкими отличиями каждый семестр, а вот же... будто бы очутился даже не в ликейоне, бесславно брошенным на второгодье, а беззубо посещал *la crèche* на руках кормилицы. Ясли-ползунки! И круже, помните ли, – все было большое и яркое, искрилось и путалось в слабых глазах, но совершенно непонятное. Удивительный мир высочных существ! Или еще аналогия – ежели бывали с благородными родителями своими в новомодной Королевской Опере и слышали распевку оркестра, то что могли воспринять из этакой какофонии? Путаной, как и сие предисловие. А между тем, все звуки в ней – части нерасслышанной мистерии!

И вокруг – торжествовался дивительный мир Елизера. И даже от тщетностей моих припомнить и изложить мало-мальски складно (ах, мучался вчера!) – в очах ёрно рябилось-слезилось, мысли путались оглашенно, божно те уроки вторились разом в единый миг. Все было яркий и сумбурный сон, скопище диких слов, когда даже и увлечешься сей фантастикой... И так пребываешь в этом блеске часы и дни, будто под заклинанием, не зная зачем, но будто слушая отрывчато исповедь о чьей-то жизни!

О, Глах!

Элизер... я расскажу только какие-то фрагменты. А бы-

ло их столько, что я раньше устану вспоминать, чем вы слушать! Но все же – самые красочные...

Сказать ли: человеку, в обычаях тяжкий? Но уже было бы сплутовать, ибо, сколе тяжестный в слове и ходьбе, все же был он неуловим, как самая жизнь, когда можно лишь помнить ее чудное кичливое мгновение, только бывшееся в руках, но с каждым мигом ускользающее и выталкиваемое новыми песчинками впечатлений. И выпячивая дородную телесность (ах... сочная одышка-отрыжка, вспотевший дух по коридорам, плешная замятость любезного кресла в читальне), – менее всего был обычен. А был-быш-бысть – любого глагола мало для него! – фантасмогория, скопище любопытствующих знаний о природе вещей, блаженных наказов, заклинаний на мертвых языках... Был он и лечебник-звездочет, познавший обе бездны сфер, явственной и отраженной, и магистр-философ, познавший палитру радуги и даже более – все межцветные пространства. И слово, бьющееся в поэме, в рифме с неслышимым чем-то, и орвис, в небеси воспаряющий и бдящий за невидным чем-то, и вертопрах (в юности), перепутавший нечет и чет, и отшельник сугубый (ныне), шепчущий с каплями воды на родном языке... И разный с каждым солнечным махом, и отрывки мои – как сполохи узоров на его цветном халате.

Да вот и забавник ще: давеча, в добротном духе, едва я расплеснул ведрецо по камневой дорожке к дому (на листке опрелом скользнула пята), эва-на подшутил, что и ведрецо

отлетело куда-то в куст, пугливо беренча, а вода вся возбилась в несчетные капли круже бедовой башки моей, абы пчельный рой, и даже большеватая водяная царица заискрилась короной во центре дивного клуба, да и – аж взбрызгнулась жгучею струей мне за шиворот!

Но комната!..

Комната сия, высокостворная, полдома почитай, – кабинция Элизера – выходила долгой стороной в сад, полный яблонных деревьев, старых и мшистых, почти бесплодных. Именно деревьев – столе узловых и шершавных! И даже при открытых вечно створах – все-то чудились сладкие старокнижные веяния. По утрам – слепой туман тщился пролиться в теплые окна, колыхаясь втуне, но удерживался невидной пеленой добродушного Элизерова заклатья, хотя наощупь и не чуялось ничто, окромя росы на пальцах... А по вечерам – все ночные жуки слетались на свет Элизеровых вечных свеч (ибо не было ни масла, ни фитиля в них) и сбивчиво танцевали перед оконьями. Ах, будто снаряжаясь на бал в самых блестящих обновках! Будто ожидая сказочную фею, превратившую бы их в зажиточных горожан! И тут же хватко мелькивали то и дело в блеклых лунных отсветах палево-рыжие вечерницы (ну, летуны-недотепы, знаете?) и прочие привычные к местному пиршеству существа.

Раз как-то, потягивая минуты меж ходами (то были шахматные проигрыши, очень мне досадные, сколь я ни маялся угадать удар... паче-то Элизер не размышлялся вовсе и

приметно вел сии уроки только для *jeune ami*, отрываясь от важной алхимии, – ах, как он раздражал меня этими *jeune ami!!!*), я спросил ребячливо:

– Но pourquoi, ах, pourquoi, мсье Элизер, вы благоволили устроить столь почтенный сад для себя? Можили бы разбить вечно-цветные вишневые рощи, такво для мадемаузель Летты, али желтые разливы нарциссов, дальновидные из моей горницы, ведущие беспечной лентой по темным вершкам холмов? Абы, знаете, стезица ко Глаху самому!

Я помолчал сконфуженно и добавил еще, взмахивая ладонью:

– Знамо ли, вы находите некую общность разговора с сими многостолетними стволами? Ибо, даже для допотопных яблонь, о коих ведано в ваших книжциях, ваши уж зело как стары, *pardonne moi!*

Как часто бывает с юношами, двойной смысл речений донесся до разума запоздало, когда буквы обрели отзвучие. Я тут же покраснелся под его взглядом (насмешливым и снисходительным одновременно) и прихлебнул еще пунша, и запершился, и загорячился с еще большим ударением:

– Ах, *pardonne moi!* Я не хотел, мсье Элизер, никакого двумыслия и сказал ровно то, что сказалось. Возможно ли, готов принять, я кручился разве... *pardonne moi*, разве ли о своей судьбине и будущих днях, что мне доведется еще перебиться здесь? Как если бы, *comprenez-vous*, ваши любезные разномастные... *pardonne moi*, мастеровые ли уроки, к

чему-то меня готовят, но к чему? Время на вашем чудном подворье просто застоялось – жить-не-гужить! – и будто бы я не ведаю ведать, где же заводные гири, чтобы заново запустить ваши редкостные беглые стрелки... pardonne moi!

Элизер же, мерно-грузно шагавший по упругим половикам всё время игры, тут замер у отворенного окна, где в наставшем молчании – ставни тихо постукивали, тянуло ще теплой сыростью, капелью оседавшей на раме, и всё птичное разголосье лилось во благом отдалении. И еще раз глянул искоса, призвал меня тихим волшебнейшим вздохом и молча (ще вообще разговаривался редко) как-то всплеснул кистью, и сад за окном подернулся цветным маревом, переливаясь в живую картину. И что прозрел я: развидел многоглазую цветками поляну на холме, где пробивались молодые яблонцы, и блеск утреннего солнца в их нежных ветвях после грибного дождя (так даже жмуриться пришлось), и внял восторженно, кабы перенесшись живьем за старые ставни, что здесь-то давеча набрел Элизер на яблонцы сии, и воздохнул восторженно, и раскинул вокруг них грядущий Фанум, и века протекли, как сущий день, но яблонцы живы ще, подпитанные Элизеровым выдохом. Но мудры, как и сам их верховный маг, и (правда! ах, правда!) любезен Элизер повздыхать с ними не людским разговором, но ласкостью выющей у корня травы, помыслом ползущей по стволу любоглазой улитки-крохоборки, пряностью колдовского бусенца с голубейных небес и омывающего с шер-

шавных листков всякостных букарок и долгоносов, и шелкопрядных гусиц, и заблонников, и пядениц, и казарок... Глах их побери!.. к радости потешных окрестных ежей, соразмерно устраивающих праздничное шествие от ближней опушки!

(А вот... А любопытно, нарочно ангажировал ли вечерниц для службы, ну как лайферы одни умеют... ах, а ежи-то потешные зачем? И я спросил однажды позже...)

Но шахматы!

Мы пока играли на двойных, но Елизер показал ще на первом уроке, единым взмахом – когда рука его, обороченная пестрой тканью халата, толь быстро вспархивала над столом, что множилась и уже пестрая птица кувыркалась в воздухе! – доска троилась и четверилась полями, и фигурки равно множились, самочинно разбегаясь по позициям... по-коголански кланяясь в реверансе своему *notre aimable hôte*, и замирая. Почему по-коголански? Ах, шахматы же с Коголана выдуманы, разве не знали вы, галерные бездельники?! Но вернемся к моей истории...

Но Елизер только смеялся в бороду их детским ужимкам. И показывал легкими движениями рук, как бы музицируя, что цельные армии знамо движить по воле твоей, ежели только чуешь ты волю и ведаешь препоны! И вот, учил он (а когда говорил Елизер, то всегда странно сухо, как бы со внуком-недорослем, что живо меня коробило), что малость толку знать ходы...

– Несть пользы скудно заучить хождения фигур, *jeune ami*.

Допусти, некто ведает буквы, но сможет ли сей студиоз из ликейонских ваших фолий вычитать Галаховы пророчества? Такова разница, Гаэль! Шахматы суть простая игралка, только шесть элементарных разниц в ходьбе и ратности. Но кто седьмой – ты! Но так и жизнь – почуй персонаж и красочность его: в голубом – внемли его сильности обыденные и смертные, во красном – внемли его слабости мирные и поспешность в часы отчаяния. Предвижи его подвижность и линии силы, но предвидь и бесцветные тулупы глупости, душащие порывы их! Теперь – будеши множество персонажей, твоих и вражых. Почуй инерцию каждого! Умножь линии силы на величие дней и ночей, кои пребудешь с ними во коловрате! Ах, *jeune ami*, заплачешь ты, сколько партий решены еще до рождения их слепых игроков!

И с этими словесами – Элизер показывал мне на доске, лишь мимолетно взмахивая перстом с волшебным александрическим камнем, как от малой белой пешки расходились сперва лазуритные лучики, быстро теряясь в тенях доски, как вокруг фигурки герцога вспыхивала короткая, но сильная тагашовая кайма, как от красавицы-герцогини разлетался по всей доске букет моренита, насквозь просвечивая противленцев, пока не гас в груди чернавки-самозванки! И затем – вспыхивали красным глазом ворожьи ряды: стежились ломаные пунктиры от боевых ушанов, прямобойные линии от осадных башен и косые жала-стрелы от начальственных шершней-сержей в почетных колпаках! И затем – рать на

рать – воздохновлял Елизер все огоньки волшебгранного камня и, ах как правда, виделись на доске гущения красных и голубых сил, и мерцала фиолетная линия затяжных позиций, и – ах же! – лунноватые прослабы в моей обороне. И прав был мой наставник – все чудилось предрешено...

– И никогда, Гаэль, никогда не повторишь ты попытки! Только боги, *jeune ami*, смеющиеся боги могут смахнуть живущих в пыльный ящик смерти и затеять одно и то же от начала времен! Из смертных же – Король Эльфов один, что почит нынче в беспокойных былинах...

И махнул тогда Элизер рукой, и погасли огни, и доска скрипнула досадостно, и фигурки раскатились в ящицы их как неживые... и вышел он, не простившись, в задышавший неожиданной росностью сад. И что Король Эльфов? И что за урок это был? Разве ли – разве ли пожалеть несчастных крашенных колобашек, что и живы-то только, ежели богу их угодно проучить неуча? Разве ли дотошно помолиться Глаху и Метаре, царственной паре небесных шахмат, чтобы довелась и мне сила однажды пробиться туда, на окаянную вражью черту?

Ах... да что я знал, что знал? Какой горизонт, и куда пробиваться? Вот что за помутнение старец наговорил, если все было так ясно и уже рядом – и Фанум, и благовейный тенистый сад, и зацветшие нарциссами солнечные луга, и Летта-Летта-Летта, Летта всех цветов радуги и любви!

Но еще про Элизера... Еще были книжицы!

Ох, уж это была и полка! Не то и вовсе, что в подзабывшемся ликейоне, где пыльные их ряды и надость с ломкой приставной скамьей бегаться, чихаясь и голохясь, и тормозить поблекшие корешки. Но такой армуар, крепче дома, из красно-карей заморейской яхтобы! Я такое дерево и не знал – даже в ликейоне не ведали! – но так молвил Элизер. Ну вот – и не высотная, где шаткая приставка нужна, и не широтная, где кузнечиком стрекочешься по анфиладе от края до края... а вот же! книженцы по краям затейно туманились и титлов было не вычесть, да и не вызволить ту книжицу, абы в прозрачную холодную завесу рукой попадал – будще, знаете, под ледяной пленкой? Но надо было – вот же лихо хозяин выдумал! – требно книжку вызвать, возвестив желание, и тогда в серединной секции лед истаивал, и фольянты ярчели (словно Глах солнечной краской провел) и переливались одни в другие, сообразно задуманному предмету.

К примеру, зажмурился я крепко, зажелал сказенцию об эльфовом короле, что хозяин молвил, и пощурился: вот же она! Сияет тирским пурпуром переплета, даже на руке моей царственный отблеск! Ах, герой-хитрец! Хотя, кто сомневался бы, что любая досада от женщины идет! А было так: ленился Глах воевать за какую-то малость – кажется, хотел в наложницы милую чернавку из дома адского старосты Гадеса; и договорились мужчины потаенно (ну, за праздным возлиянием, куда женам хода нет), что при всех богах усту-

пит владыка Гадесу в шахматах, прославив тем его сметливость и прозорливость и еще многие льстивости; но малая вечерница на службе у Метары проскреблась в мужьи палаты и толь занежила тамошнего сторожевого ушана, что удрых живчик от трудов их пятками к небу, а вечерница пронырнула в зальный дымоход и всю интригу, хотя и обожженная до гибели, донесла богине; и снизошла тогда Метара к Королю Эльфов на игральной доске (и одарила ли лаской? о-хо, книга хитрила тут!..) и свойный составила сговор; и дохнула на одуванную соринку, что возлетела царственному мужу ее прямо в слезный мешочек, и заслезился Глах, и пока протирался низко над доской (и Метара ще заботливо квохчила рядом!) – дотянулся герой и ажно подрезал рыжую волосинку с нечесаной бороды; и выковал с нее такой магнитный меч, что любую вражью магию вытягивал; и когда очистился Глахов глаз – уже на доске была его виктория; и разобиделся Гадес, и была меж богов и присных ужасная свара, и запечатал вконец Глах наглеца в тоево чистилище, вместе со всем домом его.

И что еще было чудно – по первости страницы мнились бесцветными папирусными листами, тесно испещренными грамотой, разве что заглавные буквы мелькали позолотой. Но как вчитаешься и поведешь пальцем по строке, и то-то руцовой фолиант расширялся полномерно и хотелось уже буковязную подставку под тяжелые картины! И на открывшихся полях – где-то взаправду овес колосился под копы-

том боевого коня, где-то синий магический кит фыркался в океане на всю потешную историю, а где-то на краю обложки сами Глах и Гадес сидели, бражничая, и (прислушаться!) слышен был эхом из угла их похабный сговор о грудастой чернавке. Впрочем, хм... судя по зарисовке под колонтитулом, деваха против не была и уже перед зеркалом о щедрых нарядах грезила: ще бы та!

И Летта, ах, как была в восторге сущем от сей истории, но и жалилась за чернавку и пыталась все: может ли, что победный Глах взял ее к себе хоть в рукомойницы? И сердилась на крестного, что же гостю залетному (мне-то!) можно у чинного армуара выкликать книги, но ей нет! И опять-опять тормозила: но, наверное, не дочитал рассказа? Почему всё мне мужеские герои любви, но никому не важится, что с простой девушкой выходит? Ахаха, простушкой! Ще бы та!!! Книжица молчит богобоязненно, но картинки-то зримо глаголют – да ведь Гадес-то нароченно чернавку хвастал, ибо была его исконной подстилкой!.. Ах ты, Летта! Ну что, что?! Так ведь наслушницу хотел заживить ко Глаху! А то листолазовой слюнцы подлила бы богу в кубок! Заговор же! И не благоверная Метара бы... Ах, право, ну что же сразу драться?!

Летта?.. Летточка!..

Ах, воспоминания! И неслось мое обучение дальше: колдовская глаголица. Вот же, Глах прости, ересь ведическая. Ну нет – без неважества к Елизеру, даже с благовением к его

чуденциям, но досада занудная! Да Элизер, мнилось, и не ждал от меня (*jeune ami, jeune ami!*) золотых совершений. Да и хоть каких-то – али свечу околдованную возжечь по щелчку? Не складалось у меня тогда... Но ей-же выдумал упражнение на *l'accent*, странное и смешное. Ибо (горнольствовал так, чутец разочарованно) свет – суть твоя воля, Гаэль-из-Франкии, и ее учись сокликать со вольных чувственных чешуек тела, паче соборный король кажет отдаленных вассалов с подможными войнами их. Словеса! Словеса быти штандарты твои, под котомны народец спешит единиться!.. Вот смеетесь вы, а мне каково приходилось! И что за словеса, и что за драма?

И вот, подо мглистыми сребролистыми яблонями, через которые желтыми плодами пробивался на неровную траву солнечный свет, – я потел и зябился одновременно, коротал долготные дни, чирикая на древние церы (абы волшебные!) всякие докучные слова. Ах, уже тут начиналось брожение ума: всячные, всяжеские, всяконравные!.. Потом и проговаривал их сочно, будто редким паданцем хрустя... ага, подбирал той-раз – странный был вкус: сладкое, но будто зыбкое чуток, вяжущее щеки. И получалось так – не щались уже ни устья, ни язычье, и словца звучали самоценно от меня, Гаэля-из-Франкии... будто и не сказанные мной, но явившиеся поздравствоваться из густых окружных теней, как бесхозные духи. И вились мимо меня выдохнутыми клубцами тумана, бесполезно печалю отсталый разум... И тогда я взды-

хал и спешил опомниться, созываясь рассеянной душой обратно в яркий желток подо чревным сплетением, *оборачивал стиль* по совету Горациуса (любимца Элизера и будто даже знакомца по молодости!), тщательно уминал воск на церах в начальную пустоту и возвеличивал иные парадигмы. Так возомнились у меня таланные звуком – вышепомянная крайняя *надость* и нежнейшая *обичь*, в кой хотел я передать Летте-стрекозе свое дражайшее чувство, столе обещанное и вечное, что ставшее уже обычаем для высокого духом человека (меня). Были эти слова емкими, как семечки... да, будто все старояблонные истории – ста их или сколько там лет! – я пропустил-таки через язык и выжал каплицу нектара, и заколдовал ее в малое семя, могущее теперь разверзильться острым ростком и перенести во сладостном фруктовом хрусте те же истории иному мечтостремительному юнцу! И если надость аж на лету воспорхнула из горькушенного семечка серым коршуном, завернулась в острое крыло и унеслась вихрем сквозь задрожавшие веты, то обичь... ах, распустилась от матери Земли пряным кустом, вроде розового, но без шипов (Эвгенолия, сказал потом сухо Элизер)... да, куста самоцветного в окружной тени, на побегах которого из розовых бутонов выпушилась целая стая райских щебечливых птенцов!

– Ах! – вещал я разгоряченно Елизеру за вечерним яблонным пуншем (ах, как в нашем родном ликейоне! обязаное *завечание* в читальне в окружии перемигивающихся свеч, буд-

то бы слушающих)... – Ах! – восторженно повторялся, при-
чмокивая, – я, быть можно, сонничал или бредил, но в ка-
кой-то миг чуялся... *voyez-vous*, почитал себя Глахом, сеяв-
шим землю! Знаете, мсье Элизер, я немного... немножно
учил парадигмы во младости моей, и днесь вычел дивное
правило. Вот же! Надоть взять согласные лишь звуки, а го-
лосовыми недарными може играти беспечно, – и слово бле-
стит-качается всеми боками, абы игрушка на волхвическом
дереве! Ха! Ще-то можно баловаться оконченцами, завист-
но от цели речи, и тогда словницы сии – мелькают и кружат,
как точно те вот бражники заоконные, и даже будто можно
их приручить, чтобы яркой пылью ополошили протянутый
перст!.. Кажем, загибая персты: любовь, люблица, любеница,
любущка, любчинка, любвашенька, любылинка, любаляна,
любница, любрава! Но все же, мсье Элизер, – так я вещал,
мелкими глотками подбираясь ко дну пинтовой чаши, – хотя
мне весело было и славно выражать словеса сии в волшеб-
ственном саду вашем, кои ярчеливыми каплями рослились
по веткам, и приживались где, тамо знамился молодой зеле-
ный листец!.. Так да! Но, право, – так беседовал я, хитро (как
думал) подлещиваясь к значимой теме, – не смешен ли бу-
ду я, вещая пафосно крестнице вашей: Летта, любовь моя!..
Ибо нужны ли ей сю и тю, которые мелятся во дреме так
невыразимо неженно, но в обыденности нашей, что скажете
вы, суть бессильные одуванчиковые клубы на фоне белове-
жских гор?

Я был весьма воодушевлен сей *тенцией*, уже близкой (так думал) к риторическим образцам учителя. И опустошил бражницу, и вдохнул еще пуще воздуха, чтобы очертить идею собственного каменного чертога в той золотой долине. Ах, как не хватало золотой указки, дабы по эфиру рисовать!.. Элизер, однакож, лишь усталостно хмыкнул, как бывало за шахматами, когда *jeune ami* запальчиво замахивался на шах, тихо пристукнул плеснувшей чарой о столешницу и вышел в сад.

Однакоть!

Однако, наутро (хотя Летта и капризничала прям при крестном – очень-больно хотела прогулку) я получил от Елизера другое упражнение, куда как юношеское!

Серебристый том, выданный армуаром по наказу учителя, причем с долго-отным скрипом! – ныне довольственно плыл перед нами по коридору, покачиваясь на порывах сквозняка и роняя известковую пыль – знать, многоденно томился где-то на печи! – и мнилось в неясном приторном воздухе... це же пространный шлейф истории реет за ним тяжким штандартом! Да! Еще в библиотеке учительской, тяжело пробуждаясь, фолиант затеял ворочаться в воздухе и шелестеть страничьями, и повеяло с каждой древностными тож запахами – то ли горькой пұстыни, то ли засохлой крови... да и в ушах застукало, будто зубовным крошечком сыпались удары дольных мечей, ще успевай баклерничать, да перекрикивать бранные частушки врагов... ажно я оступился о порог!

А! В этой длинотной комнатце ще не был, хотя и ротозейничал, но Летта не знала и сама. А вот оказалось – оружейная, или, не-не-не, цельная ристальная зала... я шурился наперво от серости, но едва Елизер щедро хлопнул в ладоши, и расклацнулись ставни, расхлопнулись зеленые портьеры, тоже поднявши пыль веков, которую тотчас свежий сквозняк разнес за ясные окна, – то-то солнца открылось вдоволь, и каждый в комнате отбрасывал черную, будто углем рисованную тень. Хотя... что же?! У Елизера-то тени не было? А моя-то вдруг вывернулась в угодливом поклоне, махнула по половице тенью треугольной какой-то шляпы, переменила ноги в приприжке, звонко задевшись тенями тувфельных пряжек (чу!), махнула теперь нелепым шлямпомпо с другой стороны – и явно чуялся воздушный ток и даже мелкий мусор под ногами разбежался по щелям. И молвила с ужасным карканьем:

– Yawohl!

Уф! Вот же волосья-то зашевелились, и я замахал (ах, будто отрок малый!) испужно руками, а тень тонко прихохатывала, перепрыгивая за мной по недвижным доскам, странно завывая:

– Mein-herr! Mein-herr!

Уф! Егда лишь Элизер вострял на солнечном пути и тень воткнулась в него, абы сослепу, тогда лишь замерла заколдованная, и когда я отошел на всячный случай – так и отошел без тени. А та осталась недвижима, распластанная на полу

перед волшебником, даже не тратящим на нее незначительных слов. Ох, вот же колодецкий морок!

– Ха! – звучно выдохнул Елизер, ухмыляясь в бороду. Тот редко бывал он в улыбке, и знамо доволился розыгрышем. – Ну же, Гаэль-из-Франкии! Сие суть alter ego твое, спящее обычно в обличье тени. Все сомнения, Гаэль, все слова глагольные! – он звучно вдарил об пол древней пикой (aaa? как же пика из угла в десницу его скаканула?! аки гончая сука на призыв псарника!)... заставив доспехи на стенах задрожать, приветствуя зазевавшегося юнца (меня). Ах, осерчал! О чем же он?.. – Сеют они! Сеют оные помысл, неподвластный тебе, но хотя бы устыдись! И помяни, ежели икается тебе и тень на земле дрожит, будто отрываясь, – proh! тако alter ego твой жаждет разговора! Зависимо от реляций ваших – упреждает о беде, аль же тщит на погибель. И сие – талмуд верный о привычках сечи, – будеши штудировать здесь, поколь не повинишь демона, поколь трижды сквозь тень свою не проколешь Глаховы слезы!

(Ах, Глаховы слезы! Ну, сие нежное предание опять: утрача вышла Метара к соседке за солью, не желая мужа будохать, да и заболталась, как у дам в обычае! И проснулся Глах и заискался жены, и такмо гневом выдыхал, что полмира заволокло темным туманом с сажей пополам, и лишь когда вернулась беспечная Метара на порог и бережно коснулась перстами царственного чела, то отряхнул затем три слезы, что пробили черные тучи солнечными лучами и вернули ра-

дость земным вершкам!)

Ах. Ежеутренне теперь я плелся в ристальную, открывал (долго слюнявя палец) талмуд на пригожем упражнении, и тутож угловатый vis-à-vis отрывался от каблуков моих и прицокивал-прихихатывал, прыгая вокруг и размахивая шляпенцией:

– Yawohl! Mein-herr! Mein-herr!

Слов других демон не знал, да и не хотел – прыжился вокруг, абно преданный щен, и тяжелый меч в моих руках отражался в лапах тени невесомной игрушкой, коя и колола-то меня не больно, но зело обидно! И обидно бывчило, что не сталоь песчинок времени для милой Летточки, и нарочито дулась на горячий яблочный взвар каждое утро, но все же... ах! Стократно отвечая на ейные вечные-беспечные вопросы – ах, как с Леттой было слаще, с Леттой были беспечные одуванчики и хмельные шиповные розы, но все же. Я же солдат, да? И дюже буду хранить ее, родную и нежную стотиночку неразменную, ото всяких черных магов и ухвостней? И не внемлет ли Летта-душа, что все сие учение служит для нас и любви нашей, чтобы мог я, Гаэль-из-Франкии, однажды шагнуть в этот мир за Фанумом твердым дубленным сапогом, ведя любяляночку за белую руку? Ах, верила ли мне?

Вжик! Вжик! И ах, как я ненавидел пронырную тень! Даже не почитал уже своею, но жаждал подчинить... И сам уже бежал поутру в ристальную, не доев и не допив: больше пота

и синяков! И бормотал-бормотал себе под нос всяжную полуневнятицу, как балаболят мальцы сами с собой, борясь со взрослой игрушкой. Так отец когда-то смеялся на мои потуги со строганой деревяшкой, так и тут, правда?

О, други мои! Ведаю (как не ведать), что сие наставление и звучит абы бормотание мальчишки! Но передаю нарочито так, чтобы достоверно воскресить мой радостный миг!

И тако бысть говорено в оконцовке учебника (а кто же не перелистывал торопливо в конец?!):

О, учинец! Ежели судить о поединствах с тенью, то вземли простую правду – образ твой чуёт навывчества твойны вернее, ибо не мыслит, но за навыком бежится безрассудно. Однакнож, пока оторвана от пят твоих, тень не вземлет грядущего (то единый Глах всемогущий, хвала ему, во сне прозреть может!), и ейда поступишь не по навыку плеча, но по кичливому случаю, по весу песчинки в горсти и цвету облака над покосом, тогда поровняетесь в удаче и приторчишь обратно отбившееся!

Ах, вот же волошба! По чести сказать, так и не понял секрета. Но в предыдущей главеце было куда занятнее: манускрипт заботно перечислял кустодии (семерик), обсессии (шестерик) и инвазии (полная дюжина), важно именуемые базисными. И хотя много-много я умеловал еще по детским выпрыжкам с братом на конском дворе, и позже в ликейоне зазубрил их колкие названия – все злозязычные Langortis и Walpurgis, – все же (малец мальцом!) растекался аж слюн-

ными пузырями, когда разглядывал живые иллюстрации на полях книжи. Ах, как знатно! Се – монах-адепт выжидает с мечцом подмышкой, а учинец пажет полуштитьем – то бишь, выцелив меч вперед-вверх и полуприкрываясь баклером и дрожно ждя монахова рывка на разбитье сцепки. Ааа! ажно резво адепт ныряет под щит и меч, но вяжется от меча, а не баклера! И ща школяра понаткнут-то на вертелец! Ха! Но-но-о-о! Гляди же как чудится и меняется картина! После трех-то подряд проколов, ха-ха! – оживился учинец и заметил: крашенный баклер адепта почти-то бесполезен ще, маячась далеко справа, так и манится маневр – ты упережи чужий меч, отрази и навались десницей, и движись горне, и сам-то наткнешь его! Ах, слабые руки, слабые! Попал-таки чубчик на вертелок! Уф! Но как же?

И так я распереживался, жарко дыша на книжку и жадно следя строчку пальцем, что сумрачные буквы-завитушки показались на миг яркими и понятными, будто воспыхнули магически, а затем старинный текст и вовсе растворился в голове, и манускрипт уже запросто беседовал со мной на *ты*.

А и то, подробно объясняла глава, что можно слабака эдак нахитрить, не боле! Ибо бился монах с замаха из-под руки, а ты-то, школяр недоделанный, с полуштитом прямо шел и проспори́л momentum, и даже равного не перевяжешь.

И рисовала книга секретный прием. Ты намекни только движение, будто бы юношески поспешное, дабы распалился адепт и не чуял, ако ты востолкнулся сильнѐхо и падаешь

наискось... а даже пуще заглядится и улыбнется в усец – о, недотепа! Щас-то он тебя сверху *клюкой* порешит. Но у тебя только миг, одна песчинка часов, – надо отчаянно в том падении перевернуться, абы перевязаться вокруг чуждого меча, и баклером только не забывать чиститься от адептова лезвия.

А как это? А вот – перелистнись и внемли живную картинку! Вот же приедец! Вот momentum! Вот это да! Вот ты давишь фальшиво на меч адепта справа, на самое-самое острие, продолжая будто своё полущитье, и твой баклер битый, промятый посередке на прошлой схватке, бесполезно прикрывает шуйцу! ааа! и щас-то мечец вражий заскользит лезвием вниз – десный локоть твой погубить... ты толкайся, но падай ПОД него и извернись ликом ко Глаху и баклером (ловчее! ловчее! нарисован же пример!) поднимай-отражай выше его уже холостой меч, а свой-то выжимай-прижимай (а ну как бы в клещи, понял?!). И не забудь ще оконеч-то горнее держать и острить туда, где тщится монах. А ты... застыли в картинном прыжке? Но уже падишься спиною коземно, мечец евный провелся над тобой как по механической кулисе (внял теперича, зачем в баклере промятина? а пригодилась!), и десницу выше-выше ко Глаху тyani, проскользи клинцом по клинцу и быро чур-чур подымай, дабы над его рукавницей возвилась и тычь-коли монашка под самое яблочко!

Ох, но сколько синяков набил ваш рассказчик по сим за-

ветам!! В голове-то ясно, но и телу пришлось учиться. И какова радостица была, когда Черная Башка раскололась вос-
конец солнечными трещинами под моим острием!

6

И вот вам еще воспоминание – о самом конце моих мальчишечьих дней и путешествии к эльфам, одно из любимейших. Ибо оно – как клубок, пристроенный когда-то на прилоку над широким камином. Но махнешь невзначай рукой, заденешь перстом, и спрыгнет ловко, и раскатится через все двери – оп-ля-ля! – и ты не свершившийся человек уже, а снова тот юнец безоглядный, цирковой канатоходец, что бежит-бежит по ниточке жизни и не остановится никогда!

И если кто-то скажет, что больно уж староречен я, что идеализирую эльфов и их патриархальный быт в этих сценках, так, наверное, да – и даже наверняка да! Потому что воспоминание – это вам не быль, но как бы волшебное величительное стекло, что оживляет только самые пристрастные и яркие моменты, да и не по-бывшему оживляет, а по-преувеличенному, иногда смешно, а иной раз грустно. И каждое словцо живет и дышит, будто храбрый светлячок, и история моя – будто низка тех живых самоцветов, волшебное созвездие на незнакомом вам небе.

Под кустами еще плотнился снег, но между талыми комьями уже выглядывали галантусы, а дальше по холму вся-вся проталина под соснами трепеталась их белыми трелистыми головками. Ах! И хотя ликейонские мудрецы три го-

да внушали нам *ГЛАХОВОСХОДСТВО* над эльфийской простотой, но казалось моей забывчивой душе: весь день был как сияющий Храм и накакой другой не нужен. Рыжие корабельные стволы уходили в голубой эфир, где солнце веселилось в мягких ветках, как белая рухоптица из кормилицевых сказаний, а певчая мелюзга (ах! заметил радужных скворцов и хохлатого жаворонка) мельтешилась по сырому подлеску, любопытничая круже всадника (меня). Алтей фырчал на ленивых весенних мух, бодро чавкал копытами по снежной каше в ручейцах и даже порывался галопить в обсохшую горку.

Как будто – да, даже Алтей затомился в радужном Фанумском вечнолетии и был рад-радешенек-рад-радешенек-рад-радешенек (вот тут галоп!) выскочить с хозяином в недельное путешествие. А что уж рассказничать обо мне! По соловыное горло сыт был баснями-лекциями по простым и чудодейным живностям, обычностям их и голосам, – казалось мне, Элизер был рассеян и бесполезен в примерах: ладно хищники, но вот кому станется с лисами-летягами о погоде щебетать?! Но надо отдать старику должное: когда взмахивал расшитым рукавом халата, когда вылетало из-за широкого обшлага белокрылое заклинание и раскруживалось белесым туманом, то звери все и птицы, попавшиеся в волшебное облако, не то что говорить, а и смотреть на меня начинали по-человечьи, кто исподлобья, а кто и с насмешливым прищуром!

По правде, когда покинул Фанум, и на волшебейной за-

имке (где тисовая роща двоилась в глазах посвященных, раздражая взор ярковечными ягодами, и где гурьбились шедшие к Элизеру крестьяне, коим благодатный маг являлся будто из воздуха)... на волшебейной заимке встретил Летту, раздавававшую лечебные травницы от весенней хворобы, и она толь сухо кивнула, что же! Я и не расстроился, потому что – неделя! одна неделя! – и служба Элизеру закончится (обещал-таки!), и вернусь я толь затем, чтобы обнять ее и стреножить шелковой лентой (ах, по коголанскому обычаю!) и увезти в золотую долину счастья! И какой для нее будет сюрприз, и как понесемся в наши теплые луга и будем любиться-любиться-любиться, пока Алтей с Белкой не вернутся будить нас теплыми шершавыми языками! Ах, свобода! От бессмысленных упражневаний, от обидных предсказанных проигрышей, от пряного запахом Элизерова любомудрия, до того повсеместнодневного, тьфу, что уже хотелось самому нестись бездумным галопом куда подальше!

Сейчас я выехал на косогор и – ох, красотища! Сосны заканчивались, и ниже к дальней пойме, еще несуразно черно-белой, плавно бежали меж хохлами кустов блестящие ручьи, будто вся сказочная борница летела куда-то по воздуху, теряя назад серебринки из волос! Левчее где-то, за высоким лысоватым холмом, топталась Метара с ее блошиным рынком, черным герцогом и мерой солдат, охраняющих все сие ничтожество – жалкий лоскутец у моря! – но здесь уже (а всего-то ходу три поприща!) – ни дымка, ни сторожки:

никто не боронил девственные холмы огородными уступами, не топтал вялые прошлогодние пажити козьими сгонами; может быть, следопытственные наряды забредали в охоте на разьевшегося волка, да разве только к лету. Направче же – разбегались и вовсе неизвестные земли...

Так! Алтей застоялся знамо – запрядал ушицами и запереступал бойко на стылом поветрии, но надость бысть вспомнить картинции! Элизер как-то увещивал, что земля ижет форму яблока – я-то с ним не спорил, хотя в ликейоне профессора до плевков доходили! Большинство доказывало форму пшенной лепешки... или же детского хлебного катышка? А в чем вот разница простому служителю? Знает и груденец необсохлый – как Глаху угодилось, так и вылепил из звездного песка, и воскрепил божьей слюнцою своей, и выдохом животным окутал слепой наш комец туманом бытия! Но потому карты Элизера не плоскостопились, а как бы воскругленными плитками облегалли знатное приплюснутое яблоко, парящее в углу учительской: над двумя третями земель там томился молочный туман, как бы тучи, препятствующие сокольему зрению... Но были неплохо начертаны, ах, и горственный Коголан, и плескучее зыбью Неморье, и треуголое пятнышко Метары. И надо было земственное яблоко вращать легчайшим касанием и там, где любезно, на пластину мягко принажать, и карта вдруже волшеббно увеличивалась, так что можилось и к Раваху кичливому в замок заглянуть!!! Ну и – речушки все окружные были наметаны

серебром, а где будто поистерлось с виду – то пересохлые... Ах, хитро!

Ах! В щеку мне с разлету вперился какой-то стервец, слепенец ли ранний! Теперь уже и я заерзал, потеряв мечтательность. Вот что: скудная пойма напереди – должно бы, Скребец-ручей, ибо, когда жара летняя, даже после ливней обильных капли будто еле скребутся по нему. Старый, можно сказать, друг, ибо растекался в болотце возле лагерного нашего поста, где было нам со Щербой так хорошо когда-то! Ах!.. Ну как же вот – дружились что братья, а теперь только белые кости, небось, обглоданные грачами? Я пощурился на белое солнце – светило будто ярится слезно? А слепенец зудный так и кружит по солнцу, так и кружит, а тоже Глахово создание! Ах, вот и пойми божьи пути!

Ну так... как бы продолжая Елизеров урок: Скребец втекает в Подкаменную Невицу, что потому подкаменная, ибо с чуждого берега – крутые утесы всю ее длину, и вот у слияния со Скребцом за бесчетные века выдолбили местные жители что-то вроде умученного подъема, за которым (уф!) сразу раскидывалась Авента. А мне-то, посланнику Элизерову, Гаэлю-из-Франкии, ныне путь-дорога прямее – где-то перебрести Скребец, и выше одолеться в горы, к Забытному озеру, откуда и Невица-бобылиха каплится в Метару и сестра ее, могучая Авица, плещет все приданные воды на мужную сторону кряжа, орошая всю благородную Авенту и отдавая аже девичье имя свое. А там у озера – а почему Забыт-

ного? Элизер не сказал! – эльфийская святошница, какая-то эльфийская свадьба, язычи неглаховы обряды, но вот послал Элизер как последний мой урок – ну так что же! Неделя-то всего!

И мнился было дать Алтею пятошного шенкеля, да тот молодец уже почуял, може по грудному вздоху, може по легкому всплеску узды, и понесся самовольно чуток ошую, где вдоль ручьёца вытаял снег и рыжел прошлогодний бурьян – понесся безрассудно под склон, только за луку цепляйся белыми напряжными пальцами! да и что? Разве не сам-я-Гаэль-Франк чуть не пел и не кричал оглашенно на всю горницу окрестную? Ибо был я один-царь горы тут и потому веселился, абы Глах, когда по радуге вниз несется:

– Эге-гей! Охо! Глаховы эльфы! Давай-й! Леее-т-тааа! Неде-елица! Я скоро вернусь! Охо! Эге-гей!...

Ах!..

Солнце, однако, все круче скатывалось в западный дол: хотя и рубило еще ярчеливо, высвечивая задирающиеся выше перелески, но боле не грело. Против свербящего голода и жажды привала, что по Алтееву фырку явно слышилось, дорысили все же до Скребца (хоть водица!) на бивуак... Уфф! Напились! Даже брызнул пригорошню Алтею на морду, а тот эка крутанулся задцом да тако копытцами по воде шибанул, что я сам полумокрый остался! Уфф! Скребец ще всей весенней силы не набрал, но бурлился на пришельцев изрядно... и у меня-то зубы стали подрагивать, и хотелось огня, но

во-первых Алтей. Бедолага, ибо привык нежиться у Елизера, тщился по-летнему гладок, и дрожал уже ногой... я расседлал скорей, и завернул, любезничая и целуя, в шерстовную попонцу, дабы высох в тепле. Пустил пока поглотать ельницы – ибо прошлогодний бурый бурьян, хотя и торчался в избытке, жеребца и вовсе не прельстил. А то: в Фануме-то и пырейным сенцом, и овсяницей, и люцеркой баловали! А ельные лапы уже пустили на концовках свежие зеленцы, их-то Алтей и оглаживал, шумно тормоша подрост, пока я набивал бурьян в теплые копонья для ночевья. Потом еще – проверил копытца (без подковок же!), передел молодчика, опять шлепая ласково и приговаривая что-то бессвязное про коня-молодца, теперь нарядил во льняное, а шерстовку уже сверху. Алтей всхрапнул довольно, хватил губищами за ухо, и улегся, будто сельский дворянчик. Я же долго еще возился то-се: ковырял кору к растопке, измазался аж в смоле, потом долго вытирал ладоши, прежде чем распаковать Елизерову трутницу, потом развел что-то: дымок покурился, подглох, еще и на коленцах исползался, покуда раздул до нужной дурри. Обогрелся! Ахх!!! Потом еще, подветренно, околышил и выложил полноценное нодье двумя зарубленными еловниками, абы полночно бочины нам грел. Потом уже кой-как разогрел однобоко маслёный хлебный кус, прихваченный с завтрака, зажевал с ледяной водицей, и тоже укутался во что мог, даже вдевшись в бархатную корацину (из Элизеровой воинской запасницы! почетный же повод!), укутался спиною

к тлящим еловинам...

Снилось ли? Да так, бессвязица...

Почём-то приворожился брадастый метарский комендантус, подкидывающий поштучно золотые мои левы (ах!), будто искры, и ловящий их в хованный кошель, а тот глубже в грязнокосмые волчьи штаны, ближе к сокровенному месту... алчащий затем прям-по-лужам Торговой линии (разгона претенциозных химов) на невольный рынок, где в овечьей продажной клетки почему-то мыкалась Катинка, и надсмотрщиком тщился мертвый Серж, и у Сержа с поднизья ще капала кровошматная юшка... могущий только выть... И комендантус, отрадно слюнявившийся, и выкупающий красу ее задорого, долго шаря в ярких вдруг, кевларских штанейнах на глазах у сжавшейся девы. И было даже во сне жалко прошедшего метарского лета, но что я мог сделать? Даже заправившись туда во сне на белом жеребце (Элизер наколдовал бы!), порубив ажно Сержа-мертвяка и все живопырное стражие волчинам на окорм, разве мог я коснуться ее после Сержевой похоти? Что вообще есть любовь? Ах, Глаше мой!

Еще же приявился у костра Тревор, старший братец, досадно объяснявший посреди волковой охоты, после неудачного сватовства к соседской волоокой княженке, что нет любви, а есть только владение. Или ничего нет вовсе – вот как ветка хрустнула в костре, и нет! И тогда ты жалкий мозгляк, как сам Тревор сейчас, но он задаст им жару... задаст жару.

Я в полусонье передвинулся от жара и дрема продлилась яркой вспышкой: тако вот! И дождался же (ах, но знал я, что это только сон!) повода-голода, за какой-то заблудший скот, который сосед не хотел забивать, теряя престиж, и всех крестьяшек за зерно заморил, ажно волки выли под ставнями... и напал мало да сытно, и получил свое владение – балованную пегую красотку, – и насмеялся над былой Левкиппой (ха! соломенные мечты!), заточив в голубую светлицу. Ибо главное – владение, писанный контракт, где свинцом опечатано быть, что Тревор – хозяин ея. А сам-то думал бегать по доступным крестьяночкам, щедрый с ее приданого, ха! Ах, что за сон!

Но всегда Тревор-мозгяк смеялся над малышом Гаэлем (мною): мол, больно жалостив. Так и дразнил нараспев: жалостив. И потому-то повелел в столичный ликейон (ближе к достатному дяде-вуйничу) учиться на Глахова пастыря. Ах, Тревор! Так мало до смеха знал о Глахе! Ибо кто же главный небосводный загонщик и судья? И никогда не было в легендах, чтобы Глах плакался о чем-то денощно, но всегда разил или прощевал единым морганием божеских век.

И потому снилось, что был я король у костра, и туманные эльфы доставили мне Катинку в клетке, и она голосила что-то, но разве женщину слушать? Ибо был я справедлив дважды – разом клеть расковали самой яркой головейкой, но велел ей сгинуть с глаз моих ко всем волкам, даже изо снов моих, ибо такова моя боль и решение таково!

Волки?

Приснилось вдруг – под веки аж забила белесая Луна, круглощекая, будто Катинка опять, и тама, где ельник – вдруге зеленые (в отсвете костра) радужки и белый оскал, королевская стая! И двашны волчеца секутся шумно справа, и вскинулся же сонным дураком на обманку, не успевая размахнуться-то, но ще всхлывает Алтей, разметая сено, роня шерстовку, – ах, призраком всхлывает, молча-страшно, без ржания – и так наперерез, прыжливо выкручиваясь задцом, ощеренная морда прямо у меня перед лицом, шпаря горячий дых. Тело мое само будто отшатывается, абы не поранить коня, и падится (меч колесом) дугой налево, откуда подло-засадно, ах! – мужарые волчары двое, одной мордище так и врезал наискось удачливо с разлету (Глах-те!), аже костозубья брызнули, а вторичному шуйцою... воткнул рукавным обручем поперек зубцов и дальше продавляя ко глотке, где беззубо... падает гад и безумно волчится под животцом и дранит когтями, и шуйцу грызет сквозь обруч, ажно слюни адские! И насилу перехватил меч зарезать скота... тут ще двое вроде кижатся серыми тенями, но опять-то молодчик Алтей прыжится до дрожи земной и раскидывает задним лягом и отскакивает мне за спину, выдыхая желтый пар через лунный луч... я уже поднялся зло, весь в их крови! Волки стелятся полукружьем, зеленые шуры и рычливо прижались к земле... я стою ровно, напрягая чутье, Алтей танцует сзади наготове: земля поет под тяжким копытом!.. Вожак-то

вдруг вычится в луне ярко – глазится покойно с высокой кочки, скосив седую бошку. Белый волчец резвый, наскочивший без спроса, койму от Алтея вдалось, – младый воин – вдруг-то громчее ры-ычит и прижал ушщи, но хык от вожака и замирает. И тут я будто нюхом вычел вожака развесье на весенних звездах: двое палых – пища есть, а что прошло, того и не было. Щерится: ще нападнуть всей стаей – беспременно задерут сладкого людца, но жеребец мешется зело-зело... може закалечат ще трех-четырех воинов, незачем, стая ослабнет, а скороть свадебный круг! Агрх! Белый ерзится опажно, но вожак хыкает инако уже – хочешь поместки, кы-кидавайся! стая не поддержит, будешь ще мясцом, и белый затайно скулится – и схватка решена. Вожак глазится выжидливо, щерясь, но тихо. Я мечом машу в окольность дальнего прорубленного волка с растекшимся мозгом. Два воина щерятся и утаскивают падаль, волчицы ще держат окаем, теребясь и скуля. От вторичного же волка я, заблажив вдруг, одним шагом отрубаю лапу с черным когтем (ах, ярчеливым только скудным эхом от костра, будто искоркой!) и откидываю назад. На остальное кажу гордо/супо – и волчицы хором утаскивают. Глаза их сгорают в ночи, как и не было ничего. Добычу натыкаю кривоспешно на меч, ободрав у толстой ляхи, и жарю в раздутом костре – жирное, потно-соленый ужасный запах, но жратва...

А утреча – выплеснулся из неясного сна (что-то опять с жалостивой Катинкой, да и Глах с ней! меня-то ждала-жда-

ла летоглазая Летта!) под кичливое ржание Алтея, довольно валяющегося по песчаному берегу, аж ноги вдрызг, да и вскакивающего на дыбы, алчно зовущего пропащую Белку, да и обратно кувыркаться в песок. Потом уселся изумленно, ноги ровно по бокам, без девичьих этих закидываний в сторону, как и подобается боевому жеребчику, – оглядываясь кареглазо-недоуменно, а где же Белка и все, но вскочил фырчливо, заметив меня, и подошел здороваться.

– Молодец, ах, молодец! Воин славный! Белка ой-ой залюбит! – шептал я, смеясь и целуя мокрый шершавый нос, вот-вот из ручья, ажно каплется! Холодна водица-то! Алтей в ответ лизался, прямо жеребенок, и щипал ухо. Благодарь!

Отошел затем по спорой нужде – на дюжину туазов (ах, ну сажений) и нашагнул на кровавое торжище, где давеча пирировала стая: только рыжевая башка и шкурные клочья, будто замотанные в кишечности и кровной юшкой политые... агрх! И как же вечер я сам давился и жрал вонную волчати-ну, дрожа и голохясь, и не слышал даже, сам-то не зверь ли? А нынче-то самому по нутрям судоргой повело...

И скинув наколовший спину доспех (особливо лопатку десную напекло), в котором так и спал, побежал умыться в ручеец да оплеснулся бодро так, аже сапог захлестнул... и еще плескался радостно... ах, и заныло вдруг на шее огненно – вот, оказалось, шершавится царапа от злого когтя, прямо у яремы прошла, когда давил гада. А и не почуял вчера! И задумался аж посреди вечного ручья, как же все под Глахом

ходим, и вот чутка подует он устами – и кто живой: ты или волчец злобный? Все бы божкам нашим жребий на одуван-ных пушинах разыгрывать, как и учил Елизер!

И поцеловал еще раз до-олго, ох до-олго! – Алтея в чуткую сопатку, и уши потрепал, и гриву взгривил вольнее – ах! ну что за конь-огонь! – и почапал по лесу, где каша снежная ще, размысливать завтрак. Недолго и бородил, насквозь через ельную косу, – и прям-то на прибрежных гладких каменцах, где белое солнце пекло уже, выглядываясь из-за серомешной горы, подбил ножом зазевавшуюся векшу, тож припавшую испить, – ну вот и ладно! Мясо-то светлое моментно закоптил в живом веселом огне и зажевал, а вот желудок ейный – отдельно на еловой палочке обжарил над пышливыми угольями, и ах! что за благодать! где-то еще хранила верный запас орешков, и такой вышел сальтисон, что ну просто Глах пальчики оближет!

У эльфов было здорово.

Еже-толе въехал во прутовые воротца, увитые праздными лентами и ранними вербами (а стены и не надны им, ибо незванный тать и пути не сыщет! будохаться будет три дня и три ночи, и даже за приглашенным путником бо прикоробится, а моргнет – и опять един во благе хлипком, где сырость по голенище, да глахова зезюля за неведомой кочкой зачинает вычет, только беги-шлепай, да знал бы кудова!) – только въехал, и уже веселые девчонки в белых хламидах,

сами к будущему лету на щедрой выдаче, набежали табором, прямо за именитые порты стянули меня, щекочась и хихикая, с податливого Алтея (тож зацелованного! и малому мальчонке отдали, вроде и толковому, – насколько успел сквозь разветренные косы девичьи проследить!), и потянули до избы-белокурки – ах, знамой бани эльфовой, куда и сами запрыгнули! Ах, то не у воинского колодца лужу топотать! Ах, что за нежный обычай! Но было чисто, и не воздумайте хамовничать! Всяк-то знает по сказкам, ежели любовь, то эльфица сама мужа благословляет, тайной золотой завесой оборотя, а сие общинное баловство – ну как дети чисто, так вот умеют радоваться, и дражных гостей утешить! И вот – мимо каменцовой печуры у входа, задобренной сладостным ясенем, – ах, душевен угар! ажно отворотился! – да по рыхлому сенцу на полу, провели-усадили по центру на дубовный топчан, щедрый ще glandисовым духом, – и одна прям на колени мне припала пушинкою белой:

– Ах, мейстр Гель, ни-ни не джвижтеся, бо цирюлька надится, ще наладится...

Так щебетала-щебетала, я и половины пеней не понимал, а уже намазала мне густо подбородок зольным каким-то мылом (вроде ягнячьим? но по запаху неясно было – ще какими-то сушеными цветами разбавилось?) и скребла по молодым усам серебряным нежным ножиком, самостным рунным лезвием... приговаривая, пока смотрела меня, будто читая нотную музыку:

– Ах, мейстр Гель, акий рублиц, ни-ни не движтися, бо живинка сладится, все загладится...

И ще из под лавки боковой выкликнула нетерпеливым щелчком пальцев прыткую золотцеватую коробочку, на ходу расщемившуюся (да и в ладонь!), с пахучим едким запахом, но и сладным одновременно, и мазюкнула болящую ярему так, что враз защипало солнечно и тепло разлилось, и почти уснул, даром что с большеглазой беляночкой на коленях.

Но еще другая, не очень виднелось в жаровом полусвете, но вроде с фьялковыми расплесками волос и с фьялковым дыханием в ухо! еще другая небесная жница (так ли багряно-родных эльфиек кличут?) натирала уже бережно спину, так замылив сперва до розовой пены, что через намятые плечи аж перелилась, и потом скоблила сушеной травницей и голосом высшим почти баюкала:

– Ц-ц-ц! Тише сиждите, мейстер Гель, тише. Как же можно тако загрязиться, чисты же ручейцы! Но ах, красочны, мейстер Гаэль, бо сама бо зачарила, да не мне гадание!

А третья уже клонилаь у ног, и только рыжая макушка девы мякалась сладко о колено, и что-то клацала над ногтями, тоже грязными знамо и, ох Глах, вонными что волчьи, даже сам я почувял, едва опрыснула паром из чудной бычьей грелки (тоже с рунными оттисками), аж покраснел невидно под розовеющей пеной. А девчущка – ах! – еще нащупала стыд: старую, со Франкии ще, бородавку на ступне (ах, еще ликейонский доктор раствором крапивы вытирал, – но вот

опять подвылезла!), и блеснула в парном тумане серебряной иглой и тонко-тонко торкнула, стряхнув затем в подскочившее ясенное полено, и так ще приваживала низким ночным разговором:

– Эко же люди водятся. Терпитече, мейстер милый, бо выкрестывать надость, тище...

Надость! Да я чуть не встормошилсЯ, услыхав волшебное слово. То-то же Элизер улыбался знамо, когда *jeune ami* ведал ему о новых словопрениях! И то-то я легко почувял себя с незнакомыми прислужными девами, будто сестрами младными, ажно признался сгоряча:

– Ах, любость! Да хотя бо терзати бо меня три дни, девы эльфийски, ще нагляднее вас не сыщу! Яко же именны ваши, чтобы тридесять лет помнились мне, або встречу вас матронами знатными, здесь как бывши вчера, ваши юные заботцы?

Ах, расхохотались треголосно моей ломаной речи! Но забавны были их имена, и покажно стригли и брили и мыли и натирали и лелеяли, покажно клубился карамельный на языке ленивый пар и душилось мыло в носу расцветшим прошлогодним клевером, и через сладкий водный плеск и девичьи хи, когда глазелись на меня откровенно, все повторял (хотя и забыл скоро) имена их, путаясь кто и кто: Торопа, Ахеза и Лоция.

Ах!..

Ну потом – жизнь еще шире раскатилась. Будто... будто

тележная тугая пружина, поддавая на крутом пригорке, распустилась с затейным звоном...

Так поддал плечом тугую банную дверь (девчонки-то пальчиками волшебнейно щелкали, аж искрили голубизной, а я-простак – а на раз! без нежного телячества!), и выкатился через парные клубы буквально под горку, все ноги впереplet, как говорится, – да и свет от льдистого ще озера глашил двояко в лицо, после тайного сумрака-то, и воздух снежно-весенний ожег горячее горло, и ветер во скальных соснах шепотнулся и долго звенелся в ушах, пророчествуя высокую судьбу... Да, разве не знали вы?! Когда во поле чистом, скажем, почудится те тонкий зов, а другие путники и ухом не дернут, то истинно говорят (ну, кормилицевы сказки, но вдруг и правда?) – то *ангелосы* Галаховы призывают тебя возвысить их воздушные легионы!

Ах! Так и ткнулся бестолково в спину мнущегося на бережку пухловатого паренька. Право, неловко! А тот-то и сказался свадебным женихом!

Ить же! И Клевин-то (по правде: Аклевинар; но кто бы такое имечко вынес?!) выдался юнцом-блондинцом пуще восточного хлопчатника, но вполне веселым:

– Ах, мастер Гаэль, – акцентировался вполне школярно, будто степенно вышедши из трапезной факультета Схолостики (ха! бо кто не знает – эти-то прилежники и буянили втрое!), – но возможно ли, будемся поименно?

– Охотно-охотно, мсье Клевин, – отвечивал я щедро,

радуясь собрату и пожимая легкую руку. Ибо уже чуял, так хорошо распарившись, полное тождество ко всем эльфам на белом свете! И тоже велеречился, смеясь и на ходу (вот Элизеровы уроки!) выстраивая суразные куртуазности: – Ибо уже, от востоль радушной встречи, чую я к народу вашему истинную любовь и, самособно, ко столпу праздника! Но доверьте мне... ах! Укажи мне, Клевин, где же нареченная? Тако ли, кажут люди, – золотою звездою зовете вы верную жену? Аль столе прекрасна – а уверен я, что еще заветней! – бо те молодницы, что лелеяли меня, то воистину счастлив ты будешь вечный остаток дня!

– Право, Гаэль, я бы радешенек, – Клевин и впрямь-то будто засиял небесными глазами при одном воспоминании, – но ты не знаешь ще достольный наш обычай. Позволь, я сдружу тебя с наперсниками моими, угостимся наконец, – ибо тебя мы ожидали нежно! – и обсудим, ах, наказаньеце от распорядителей, коим не терпится сбыть нас подальше! Ибо, брат мой Гаэль, нет на эльфийской свадьбе более бесполезного существа, чем благородный жених!

И так задорно, так широко – аж на все озеро эхом! множа солнечные блики! – расхохотался при сих словах, и дружно подхватил меня за руку к широкому навесу, где трое молодых эльфов в пестрых вырядах (а жилеты-то: чисто золотистые дрозды по весне!) уже взмахивали радостно руками и кричали невесть что. Ну, вы знаете молодежные гимны: йохо! вот и они! и что-то про Глаха, и еще, и еще...

Эх! Как хотел бы оживить тот миг! Детские разговоры, детские важности друг перед дружкой и детские заботы, которые мнились нам серьезными! Но даже если войти в божественную медитацию, ежели перелистнуть книгу памяти ровно на то солнцезветие, знание будущего не изменить. И можно только смотреть на бывших друзей (золотистые жилеты! ха!) и улыбаться чистой слезой: экая смешная картина в золотом багете!

– Да девку одну не поделили, – молвил я как бы задумчиво, щурясь на пылкое огневище и ерзяя усесться поудобней. Лениво поворошил тугим сапогом ветку в костре – вот и палец подмерзший прогрел. Не привык я быть старшим в компании, вот и мямлился... хотя и льстило изрядно! Как же загнуть-то покрасочней?

Эх, после панибратского знакомства и смачного перекусона на озере – мы пыхтели два дня, нагрузившись тюками с провизией и колкими вязанками сучков, той глах норвящими раззявиться. Пыхтели совершенно буквально – пока по сосняку: дыхание исходило теплым паром и даже смехотворно замерзало на куцых бородках (девчонки и мне такую же выстригли! эльфийская мода!). И на кратких перекантовках, пока скрипели на зубьях белесые от морозца сухари или свиная солонина вязала щеки так, что никакого кипятка не хватало, – тут-то живо вспоминалась обильная присвадебная закуска...

Клевин тогда, увлеченно выковыривая костицы из жирной семуги, умудрялся одновременно столе страстно жестикулировать, что жирные капли нет-нет да и слетали вокруг блестящими осами:

– Ну так видишь ли, Гаэль, невеста каждому из нас как бы заране прописана на скрижалях... это, гхм, тако хреновины бесконечные, в зародовных храмах хранятся, да еще на древненотном языке.

– Короче! – басисто перебил его смущение Левит (Алевитрад по праздничному), смолистый космач и явный отрядный заводила, отрешая рыбий скелец в озеро: – Помолимся! Прах к праху, а рыба ж к рыбе! Расти большой!

Парни фыркнули насмешливо, но впрочем – в огладку на шныркающих девчонок, собирающих еще столы. Клевин-то покраснелся даже передо мной, как перед самым важным гостем.

– Да ладно! – замахнул руками и Левит, тоже воздымая ярые брызги. – Никто среди бела дня не верует в эти жречьи рассказы. Або старые сводники пекутся, бо родословье не выветрилось!

– А верно! – оживленно вдруг замешкал, недонеся до рта, недоглоданным хвостом третий. Кажется, Пертик – то бишь, Перталомус, знатное имя! – то-то прошлым сеченем мой брат Демтер выдавался, так жерецы-то тридни воздымали с благородным отцом нашим благовейный чер! Ох, и дровец спалили! Один провидит Кйлицу, другой Ювелу, а в одну

скрижаль тридни тычут! Аж до красноты горнольствовали!

– Но подожди! – краснея ще краше, остановил дружков Клевин, шумно отпивая морса. – Сейчас мастер Гаэль решит про нас невесть что. А то древненотный язык, он вроде и точный, но токмо если эхо верное. А кто недослышень пустой – так и просто шум и не прочтешь звезду. Но... ах! Да не глумитесь, друзья! – заважился он резной кружкой на корчащих влюбленные рожи сотрапезников. И продолжал вдохновенно: – Ибо все не верят, пока не назначен час. А так – и появится звезда, как мне, и сам сердцем принимаешь. Ах, Гаэль! Но тако праздно, что несть воочию лицезреть, поколь перед всеми на обряде покрывало белое не отымешь. А так-то ведаю ясенно, что будет то кузина дальняя Ларита, ох и златовласка, Гаэль, ох и синеглазка, и ланиты розовые... Ну ах! – осердился опять на хохучущих друзей, колотящих новыми жирными рыбами по столешнице. – Вот увидите же сами!

– А да верим! – хохотал Левит, ажно и стол стонал басовными нотками. – Когда же сам я Лариты родственник, бо как не ведать! Ще по осени она меня выспрашивала о наших бездельниках и, брат Клевин, меня возблагодари, ибо тебя-то я и подсказал лучше нотной грамоты! А просто говорю, есть вот Клевин-Тополь-Ясный, ну просто тю-тю как хорош!

– Ааа... – Пертик уже держался за бока, оставляя жирные следы на свежем камзоле. Четвертый паренек, Витар, этакий тощий рыжик, тоже дрыгнулся с лавки, восторженно моло-

тя руками поперек ляжек, да и Клевин, не могши сердиться, сам-с-усам прыснул на меня непрожеванной золотой чешуей... Ахх!

– Короче! – торжествовал Левит, притихая чуть и подымая руку с солнечной рыбицей, – тут как хочешь верстуй мне или жерецам, а не может брат Клевин даже вида дать, что вычел уже звезду по имени. И дабы-то не подглядывал и не алчил тут, бо девица прибывает вечер, нас всех мягко послали по еще одной ижице – покорение ишь ты Альты.

И с этими словесами Левита, будто полновесными, что и базар окончен, четверо эльфов на время вернулись к обглаживанию семужек.

Альта – оказалась, после иштых объяснений, будто священной горой, откуда виден мир. И потому-то жених, готовящийся к новой жизни, надостен возвlechься на нее в окружье верных друзей и типа (тут Пертик сплюнул) просветлится.

– Да что, – отозвался он на удивленный мой вид. – Это им невпопад. Я-то лазал уже с Демтером. Там, скажу те, друже, холодно з-з-зело, надо дровец натащить изрядно. И то верный обычай – на вершине не дремлить, а огонь держать и все грехи во того сплевывать! А то все грехи и отморозишь!

Ну – опять тут грянул слезный смех и опять рыбы брызги зарядили в воздухе. И опять Клевин пытался что-то лопотать, да бросил, только кинувши в приятелей рыбцой. Те, впрочем, продолжали ротозейничать.

Мне же было и смешно, и неловко. Ибо столько слышал судаческого об эльфийских возвышенных нравах, что неожиданно было эдак огульничать. Хотя, не тако ли и я (ах, юнец!) во ликейоне мечтал служить менестрелем малой графине Эльзе, вычурной куколке вроде Треворовой Левкиппы, но сам же бегался по веселым кабакам, задрав штаны? Пфф! Но все же, Клевин-то бысть из товарищей самым, пожалуй, приятным, почитай родственным по облику и душе, и ничуть я не жалел о встрече. А гора так и гора, можно и на окружный мир полюбодействовать!

Ну так вот – после двухдневных буквальных пыхтений сквозь дыхальные повязки (а то! на обледенившихся склонах солнце-то от снега ого – того гляди ликом раскрасишься!), вечером уже, под огромной круглощечной луной, бо ставшей ближе во три божьих пёха, выползлись на плато. Созвездные фигуры вершились глубоко и ярко, абы желая всегда служить молодым эльфам! А и жаль, что не было дальше лазу, а то бы и до Глаха? Но успели ли? Клевин выпростал из охранной тряпицы драгоценный короб – компас, какой я в ликейоне только и видал. Тако и прикинули, шушукаясь и припоминая: северную завитушку на лимбе (ту, что с корундной слезой в серебряной оправке) на полную Луну навели, получили тридцать пять и стошень азов до дрожащей стрелочницы, разделили на три пятерки, вышло, значит, девять, да плюс один (магическая эльфова поправочка – но в ликейоне также знавали!), да плюс двенадцать лунных долей, тако

видимых, и выходит? Ах! До полуночья, когда вершится магия, два полночасья еще, успели, ух!

Впрочем – растормошили радостно надоедные вязанки (давеча уже навозились туда-сюда!) на темное пятно бывалого кострища... разожгли малежно, дабысть до утрешнего солнца дотянуть, и расквасились рядком на рунные шкуры (важноваты в ноше, но часть обычая!) и... вроде ноги под сапогами гулкой тяжью налились, но головы у всех были как-то светлые, от высоты ли, и забвенного сна ни в одном глазу ни у кого. Стало быть, все чистейшим сердцем чисты! И так беседовали поначалу лениво, но веселея языком от сладкого грога, – и друзья, высказав аще про себя всечны смехотворные истории, тут-то на меня и накинулись. А из-за темноты – даже не лица их, а хор молодческих голосов так звучался в голове, будто один кто-то в четырех ликах сейчас со мной рассеянно беседствовал...

– А то, Гаэль, – спрашивал то ль Пертик, то ли Левит, – теперь ты будто эльф! Странно ли, что старшины тебя повелели с нами тянуть, но мы что, мы толе пустомельствуем. А так-то – поди их не послушай.

– Ага! – вторил то ль Витар, то ли Пертик опять. – А то забавно: пока необженёны, все-то жеребцами ржут, а потом – да что за радугой бегать, вот Клевин наш. Уже так лебезит и млеет перед выдумкой, что наяву краснеет и молчит! Ну что?

– Да и правда, – смущенно молвил Клевин, ковыряя ко-

стер припасенной ольшиной и зажигая кончик ярким углем. И вытянул ветку перед собой, будто прилаживая огонек на небо. – Вот нет, Гаэль, понимаешь, ученого способа узнать, взаправду Левит насоветовал моей звездочке, то ли богатырец-то сам был игрушка высших лесных наших сил. Вот, Левит, ты сам разберешь?

– Не разберу, – соглашался притихший под молодыми звездами Левит, средоточно отмакивая в гробе последний сухарь. – Да и что мне? Важно ли: вера или случай? Ты же счастлив, так и живи. Но Гаэль! Аки ты теперь с нами эльф, расскажи-ка свою балладу! Что-то бысть распевали, ты был найденыш и в лесогорье самую Эйлой подобран, а то ведь честь знатная! Я и сам бы за прикосновение королевы свой вздох бы отдал!

– Ну, – ревностно хохотнул Пертик, – вот такой наш Левит, о королеве мечтает! Да как бы от товонного крепкого вздоха Эйле горло серебряное не запершило!

Впрочем, тут же умолк, бо зело вознаграждался мшелой веткой от богатырственного Левита по загровку. Ажно мшина ветошь разлетелась над костром красными вьюнками, будто правда дурость-то повыбили!

– Ни! – молвил Левит сердливо. И что-то еще раскусывал на зубе (орешек ли?), так что *чливые* нотки раскрасили весь его ответ: – То не мой жребчий. Мой еще к осени жерцы огласят, но бюджет то самая красная из Клевиных сестер! Ибо жеречцы – только вольники судьбы. Велено пращурами два

вольных рода скреплять белыми лентами – то вотче и стараются! Но опять вы, бестолочи, сбиваете меня! Друг наш Гаэль, да как же ты получился полуживым на поляне нашей королевы?

Ах! Да как и передать им? Когда звездья кружились почитай в глазницах и дух бысть уже наполовину воздушен, а тело телилось чуть, влачилось едва-едва, отставая в мокрой никлой траве. И лунный лик – вот, королевы самой! – лицо той вечной нимфы жизни возникло из ночи, и будто звезды из венчика ее вспыхнули и обьяли меня серебром и вернули боль, судьбу и заботу. Ах!

– Да девку одну не поделили, – молвил я как бы задумчиво, поворошив сапогом ветку в костре. Не привык я быть старшим в компании... хотя и льстило изрядно! Как же загнуть-то покрасочней?

– Звезду ли, или так? – тоже шебурша яркие головешки, переспросил Клевин, развидевший во мне перемену от обычного мальчишьяго бахвальства.

– Да Глах бы знал, о други. Глах бы знал! – и сам не чуял я: была Катинка звезда или так? – Нет, у нас не то, у людей. У нас без скрижалей, а просто любитя и славно. Ах! Ваши старшины сказали бы – бездумно любитя! И кто же я бысть, солдатик без мудрой стотинки. А она – ах, просто жилась по обычаям местным, просто и могла стать звездой, но осталась речной купавой! Ах! Завистно мне вам! – я еще поворошил хрусткие ветки, еще подкинул, и странно в пляшущем свете

светились пятнами лица эльфов – то и казалось, когда притихли недвижно, что суть они один кто-то, большой как мир, внимательно меня слушающий и внимающий, зачем я тут.

– Ну так! – я разгорячился вдруг. Лик Катинки промелькнул будто чистым розовым духом над обрывками пламени и стыдно было сочинять нелепицы! – Вот мой серж, а я тогда был солдатиком у Раваха-герцога, что-то и домогся до ней зельно, а что она могла. Ну а я и киданулся на гада... и посадили в яму, уж я перемогся там.

– И не сосчитался ли с ним? – неверчливо поднялся кто-то длинной тенью, пересаживаясь к теплу.

– Да как не сосчитался! На ближней сваре и развычелся – и с ним и с клеветом ейным. И как они побегли-то на меня, но под одного поднырнул тако и брюшцо-то выпустил! и им же от сержа-то прикрылся, и пока злыдень тщился меня, выкатился и по коленцам его! да по паху гнойному! – и до того ж старая злость дала знать, что взмахнул горячливой палкой поперек костра, да и эльфы повскакивали, тоже махая и приговаривая: ах, так! ну Гаэль! да вот так! – пошли плясать хороводом вокруг костра, прихватив и меня, красные в отсветах будто гадесовы черти: а, да так! ах, Гаэль! да вот так!..

Потом еще ведали про прибытие мое в Метару, про морское бурешествие, и про давешнее волчье побоище, и цокали языками по таким приключениям... уже я виделся им если не великим воином, то бойцом изрядным...

– Ну то, Гаэль, – уважительно молвил Левит (видно, вдав-

ший под вином в сантименты, воспрявший Пертик так и корчил разнородные рожицы за его плечом). Воздел пустую руку и развеял над костром орешную скорлупу, и начал, истинно по обычаю чтецов ликейонских (как там латейское словцо?), *дирижировать* ритм грядущих стихов. – Ежели обидел те пустяшной речью, то истинно молю обиду забрать. Ибо зрею ще, что живешь ты искренне, бо воздух сей нашей горы лжицы не терпит, и горько дымился бы костер, а наш же – прозрачен как душа эльфа. Ибо зрею ще, что не зря королева Эйла расщедрилась на тебя серебром звезд – знамо, звонок твой жребий грядущий!

– Так! Славно-славно! – загудели и остальные, и Клевин полез через костер разливать по глубоким кружкам остатки грога из утепленного меха, и как же было сладко с друзьями выситься над ночной страной, и только наш костер, лижущий лунные тени, и выше уже только Глахова сторона! Но больно они захвалили меня, и решился я вернуть любезность любезностью и обратно задал вопрос хозяину, обязательно и почтенный, но и с улыбкой, как и воздолжено друга спрашивать:

– Но ответь мне, Клевин, вот что, пожалуй. Ибо, когда привечали меня любезные девы ваши, то чудно толь речевались, что третье словцо даже не донимал. Вы же кажете мне вполне созвучно, вы ли тоже ликейона какого тяжники?

– Ах-ха! – перебил Левит, смеясь. И пропел вдруг на родном наречии: – Талежно ли праздны наши знаки нацелены?

– Уф... – я только ртом захолопал, к общему хохоту. Все они знали, видимо, страсть Левита философствовать после горячего напитка, Пертик так даже подмигнул и шепнул: – Началось!

– А значит это, – объяснил Клевин по сути (дружески осяживая вскочившего было Левита): – Так ли все у нас на челах наострено парадным росчерком? То и правда – мы были из Триградского ученья, так у эльфов поставлено. Девы – берегут нежно исконный обычай, а юноши неженные – мир окружный познают всяко-разно. Кто-то в ученье, кто-то в службы ваши людские идет... хотя и схожи мы, но характеризмы разные!

– Хотя, – домолвил Клевин, еще разливая из меха и (обычай!) щедро брызгая остатки в костер, лизнувший будто в ответ его ладонь легким сизым языком, – в тебе, Гаэль, и впрямь мы сотоварища нашли. И позволь, пока еще полочется в бурдюке волшебный наш кисель, возвыситься с тобой наперегонки за первые завтрашние звезды! Ну, когда махну кадиллом...

И махнул горячливой на конце палкой, и все наперебой взголошились и споро закинулись кружками к губам, глотая и роняя, и шипело пламя, и хохотали мы на вершине мира.

И так где-то задремали во хмелю... ибо следующее, что помню, – обрывчатые сны и зубная дрожь. Но едва разомкнул вежды – из-за иневатой скальной головы, за коей

уютились, уже вырисовывались поверх скрытой ще понизу лощины розовые лучи, как будто Метара – а кто же еще? хотя у эльфов древнее поверья! – расстилала прямо перед нашими чистыми очами златчивый ковер завтрашней жизни.

И Клевин споро выпростал из походной холщины еще ого-сокровище – четырехколенную подзорницу – ох, эльфийская работа! И вскочил так, что мелкие гранитные камешки будто разбрызнулись в испуге от его ног и пропали за краем пропасти. И, покуда не воздался горячий дых от озера и рощиц, выбежал бесстремно на тонкий ветренный уступ и взделся оглядывать священный Глахов край поперек картины, шепелявя что-то губами по некому эльфийскому перечню. Мне же из-за ширшей дружей спины было не очень развидно – разве угадывал серебряную нитицу Невицы, упдающую в серую ще даль (моряцкая страна Невеция), да в левом пехе от ней – вздорный уступ Метарского замка вываживался агатным блеском над туманицей, и за ним еще левшее – будто близостно, а до каждого пех да два по распутице! – серые-бурые камушки поменьше: Раваховы вассальные фортеции. Одесную же, где бескрайне раскатывалось от озера Авентийское хлебное нагорье, все розовело и щипало в глазах...

– Гаэль, Гаэль! Ах же! – Клевин вдруг выдохнул истово, горячась, и белое дыхание потянулось к редким облакам; затормошил, живо потянул меняться шагами прямо над зрелищной бездной: – Держись-та! Пониже! Вот-та вдоль Подкаменки туда, где льется шире... аки два кругляша огром-

ных возгороздились! Зыри ярче! Ах, все правда во золотых скрижалях, все правда, зреешь ли ты?!

Не понимая, дрожа от прохлады и мечтая ще вернуться за верной корациной, начал я торопливо следить от озера: где слепилось оно розовым пятном и плавно уходило направо разливною Авицей – там ли?

– Нет! – жарко дыша в ухо, он поправил мне руку: – Вот же!

Вот же! Во дальнем остром уголке за желтый гребенчатый скальный край спадали книже серебряные струи – водяные излишки, Авицей нечатые, – где под водопадьем зачиналась Невица, нелюбая сестра, и тщила прерывистой ниткой под утесами нагорья, и где со Скребчиком сливалась, где к Авенте пешедраальный подъем – ах! Ах!!! Подъем-то быш не во граните выщерблен, как мне давеча мнилось, а вопрямь – огромный булыжень (будто туфовик?) подкатился туда глах егда и приленился к нависшему косогорству, что возмозилось в щедром булыженном боку вырубить хоть ступеньки для выхода к нагорью! А там уже (видно ясенно волшебным оком) не миновать маячащую в глаз краснокрышенную башенку, где принимали усталого пилигрима рукастые авентийские таможенники, куда же без них!

А и да! За малый пех до него или сколь – тут не равнина! – но ще до выплеска в дол, влахался поперек Невичьей Теши еще такой же палый булыжень, в окрестых вечных соснах еле различный мшелым телом... равниники мож и не ведали

о нем? Но ловкий эльф-букан (чем эльфы и славны аж до Коголана) мог бы по нему таеженно перебраться... наверно? (Ох и горячо вспомнились собственные подковные шалости! Ох-ох!)

– Гаэль! Гаэль! – от рассудочности Клевина ничего не осталось, або в белесую пропасть оступилась и сгнула, голубые глаза сияли солнечно и щеки розовели, ах, родственно возрожденной ниже долине! Да-да! Вот и радуга отскочила в глаз от попавшей в луч ледяной шапки! Коли уж поминать ликейон, магистр алхимии Теобаль (сам худой как эльф) показывал нам раз, сколь ажно расплавленный в хрустальной колбе сульфурис вспыхивает на свету Глаховым голубым пылом! Вот точно так!

Клевин слепо сунул кому-то зевающему нецеремонно выдернутую у меня подзорницу, но было совершенно невозможно сердчать – столе эльф воскрылился гением (ну, латейское словцо – бо душа ли, когда очнулась?)... ах, обнял горячливо за озяблые плечи и повлек к затухающему кострищу, путано и восторженно пересказывая легенду, размахивая десницей першащий ще сизый дымец:

– Ах, Гаэль, мне кукамай-ба еще памятовала в зеленушные-то годы, в августейшие зарничные ночи, когда звери охочие шастают за избушкой, когда сам ваш Глах на топчане ворочается! И думался, – хотя молчал почитательно! – думался, то сказицы благочинные...

– ...и так глаголила седым уже голосом, знаешь ли, когда

монотонно и бессвязно будто, ах, будто вирши древние, где только ритм и чуешь: и осерчал Глах на невейских язычников, вот так Метару обидевших, и выдернул у ней из высокой прически желтокаменный гребенец, и воткнул сей гребень во грань Невозера, где широкой Невицы быш водосток, и запрудил; и рассыпались серые Метаровы косы и, прибиралась пока, неделю проливался дождь по Альтовой веси; и стало озеро полниться и излилось с севера новоречьем, что нарекли мы Авицей, и авентийцы все благословили ярый Глахов урожай, а невейцы все утратили свое земледелие; и бывши ще с ними на делянке Король Эльфов, и молвил он...

Ах! Ну что за егерь-молодец! Как сие было мило, ще больше сближало Клевина со мной, тоже от сказочницы-кормилицы все лучшее впитавшего! А-а, зеленушные годы? То у эльфов-лесовиков обычай смешной: мальцов на праздные дни в салатные одежды наряживать!

Что же – много мы еще судачили на обратном пути, но перелистнем страницу. Ибо воспоминания – как книжка с картинками, яркими и настоль живыми, чтобы нырнуть хотелось в каждую с головой. И пускай сия картинция меня не очень-то красит, так и что же? Уже каждая частица кожи по сто раз сменилась на моих ладонях, и тот губошлеп Гаэль – лишь страница, лишь картинка, лишь воспоминание.

Итак...

– Ааа! – запел страшным голосом черный бородач, в ком зрители давно разознали ряженого Левита (знать, любимца!) и довольственно свистели в четыре пальца. Самые мастера ще притопывали правой-левой, раскачиваясь аки птенцы-головотрясы и придавая свисту ритмовые вибрации: фьюфьюфьююю! та-та-таам! – Ааа! Виновны по седьмую поросль! Ибо от матерей и впитают злое безбожие!

Девушка в солнечной робе, выразившая Метару, трепетно повисла у мнимого бога на руке, кротко поглаживая плечо господина. Настолько забывши (ради блаженствия мужа) об охряном росплеске волос, бездарно волочащихся по дражной доске, что ворохом вершились на героя шутовские пучки мятой травы и смешки от подружек невесты (особо круглолицая голубоглазка была ох мила!): Охлонись, Глах! Же-

нобо-о-ор!

Ах, в голове царила праздничная неразбериха! И толь-толь тысячи цветастых деталей радовали глаз, и толь-толь тысячи звучных отголосков пестовали слух, что шурился (как бывает, когда на яркое солнце глазишь) и сам тряс той-дело туманной головой, и представление понимал с пятого на десятое.

– Ааа! – веселился Левит, входя в раж и роль, вперевод толпы увлеченно громыхая сапогом о прибитый к декорации медный щит (Та-Та-Таам кантованным сапожищем-то!), да еще полоща по воздуху голубой тряпкой, случайно попавшей в руку... То ли небесным знаком? Ах, то была Метарова накидка, захваченная, пока небесный герой гребень ей-ный имал из высокой прически! Девоньки поближе той-дело привскакивали, тща украсть мелькающий край, так что Левиту изрядно приходилось потеть! Так и бычился оглашенно по сцене, покуда не ткнулся кроваво-налитым взором (ну, подкрасился!) в молодцеватого эльфа, незвано пересекавшего путь: – Аа! Ты ли, эльфов король, земной недомерок, лучше подскажешь?

– Благословен будь, господин мой Глах! – потворственно вторил эльф с золотой клееной бородкой, почтенно переминаясь в трех шагах и теребя церемониальный колпак с волочащимися защитными наушинами... Войлочный колпак этот, называемый кулах, особо добавил хохота и знатоки сюжета остроумничали наперебой: Задури его! На всякого гла-

ха найдется кулаха!

По чести, в Коголане видывал я актерства и краше, да зато собратья-эльфы веселились от души! Особо-то, подле раскупоренных бочек верхового эля – веселье ажно томилось в воздухе золотистыми медовыми пузырьками! И наряды друзей (с каждым-то глотком!) ярчели на радушном солнце зелению и синюю, подсолнухом и фиалицей, рунницей и косичкой! Ах, и простоватый народ, но и со светлой сердцевиной, так-то вживаясь в бабушкину сказку!

– Благословенна и богиня твоя! – продолжал плести златобрадый, начерпывая меж делом Глаху-Левиту златорунную, трикратную против людской кружку амброзии. – И не возмужусь воскучивать облака криком грома, но все же богу богово! А людские делишки мне, пожалуй, неплохо ведомы! Как же запойные бестолочи?! А не! – Тут изогнулся хитро, будто златозелье почтительно поднося, будто ще и больше пытаюсь польститься: – А поверишь ли, что недомерок твой вот каменец дальше чтимого бога бросит?

– Ааа! – Левит радостно фыркнул, сдунув пену в хохочащую публику (запойные бестолочи!), и под восторженные пей-до-дна, пей-до-дна, пей-до-дна... я и сам-то отхлебнул! Как бы выцедить кружбанчик за раз и показалось главной развязкой поэмы! Аах, хорошо-о! И грозельный Глах на подмостках также выдохнул, добродушно рыгая от пуза: – Как смешон ты, златоуст! Но послушаю я жену свою, ибо она источник благословений моих!

(А знамо ли вам? Вестно ли вам, что Глах-то во младенчестве воскормлен был не млеком, а верховым пивом, кое мать его источала, бо столь богатый был урожай тем листовенем, что сами реки пенились нежной брагой?! И что едно священное средство успокоить гневного божеца раскрыла благая Метара подчиненным народам – угостить его идола из земной реплики самопийно... тьфу! самостийно сработанного ею на гончарном круге небес златозакатного кубка!)

... и неженно принял в тяжелые руки девичьи пряди, и закрутил на бычью шею солнечным ожерельем, и закружил Метару по сцене золотым колесом. Невестичный ряд наискосок тож-тож зажегся неумным взвизгом, прямо читалось по ярким их губам: Слушайте! Ура Глаху! Ура Левиту!

Эльфица же, раскружась ще обратно, но не теряя с Глахом-Левитом золотистой связи, бо куда она от власти мужчиной, обежала краткую сцену, бо в сомнениях и советуясь с подругами, и вновь нежно припала к державному супружнику, что-то шепоча в косматое ухо.

Ах, то ли слышать хуже стал? Что же... Девчушка в бежевом-то сарафанце, что щедро щебетала с подружками через пару тесаных бревен пониже от меня (а бревна непросты! как молвил Левит, когда побратались вечер и поможали растаскивать по поляне сии сидушки, ще пойдут молодоженам подарком на летний терем)... аще мила! а не в баньке ли давеча нежила его? как же? Алора? Алоза?.. ах, ну да, и привскакнула вдруг пичливо, да заложила пальцы-мальцы в рот и за-

свистела будто? Но вот – не слышалось ни глаха и ни праха, как говорится, а только ветреный шум вдруг, да и солнце в глазах забилося нежданно яркими лесками. Ах, не надо было так нажориваться свежесправленными скворцами! Но право – в тимьяне и кервеле, да элем политы, да в горчеливой шалфейной оборотке, да ну-ка удержись! Тушек ли двадцать смолотил? И вот будто вертопрашили и бузотерили ныне в желужонке, будто пробуя летать, а то ли полощились-купались в элевом разливце! Ха-ха, ох, Глаше, помилуй мя!!!

– Поделом! – громогрянул тут Глах (ах, ну Левит, то есть! Уф! Вот же бошку задурачило!). Вот же голосище – ажно уши прочистились с боем! И снова добрый детина забычил было сапогом во щит (и башка чуть не треснулась звоном), но Метара опять зашептала жарко в ухо...

– А-а-а! Звиняйте! Имел сказать: Заметано! – божок повел наискосок кружкой, расплеснув пивные сливки прямо по довольным ребячьим рожицам, что ютились прямо на земле перед помостом. Тоже ли перебрал! Ха-ха, Глаше!

И бумкнул-таки носком во щит для пущего куражу! Ах, вообще хороший вышел праздник! Жаль вот, что мои друзья поразбежались: Клевин-то с утраца со звездочкой своей блаженствует на жениховой трибуне, Левит вон божеским нарядом на сцене куролесит, а Пертик-Витар сю мину-ту здесь были, хохотали в ухо, да пришел их черед лагерь караулить. Дело мне известное, сам в Метаре настрадался! А то – хороший праздник! И гадание было на ольхе и ясени (бо

не знали вы? то эльф и эльфица – яшень и ольшица!), а ладилось так: на костре две плашки молодых поджигают, как будто любовью, и смотрят затем, чтобы трещинки сходно шли: бо разломит потом жрица (а сама Эйла была!) дощечки, да и сложит их краями, и совпали толь знатно, что Клевин с молодой девой под радужной фатой ажно расплакались звонко! Потом еще подарки даровали от каждой гильдии... Что там было? Как выше говорено, от лесорубов ще вышел дом тесный, только бревнышки обратно поскладать! И узнал я, что и гильдия охотников-буканов (а кратче, ярых контрабандников! ха! а думал ще – бабушкины рассказы!) тожно числилась. Вот натарили ярких безделушек к семейному очагу – яко вот оберег Мокоши из заморейской бело-гладкой кости (небось, из бивня карличного *стегодона минутуса*, хотя раскраски в ликейоне и учили, что сказки это все). Ах, ну вот! Потом и я наконец вызван был белоодежным жрецом-глашатаем и презентовал некий сверток, что Элизер запретил рассвертчивать до: и вышли чудесные часы Любви! Ах, точно как обычные песчаные меры, да наоборот! Едва расстелились все златопесчинки понизу, то подойдите оба и возложите белы руци на верхушку из поясничного камня, чтобы грели дружку, и (коли ярка любовь) удивитесь ще, как золотые искры сами потянутся ввысь волшебейным вздохом! О как все повскакали глазеть на Елизерово чудо!

А теперь-то толпа всполошилась и повалила вслед за актерами к ристалищному краю, где помост подвис над длин-

ным косогором. Побежался и я, неловкостно уронив кружбан на лодыжку... ах!.. и скользя по растоптанной в грязь белосочной траве и махаясь руками на взбудораженных пивных мух и даже остановиться мог лишь обнявши с ходу такого же нестойкого парубка. Еле выправились мы оба! Голова, ах, будто вдруг перевешивала! И черные точки замельшили в глазах. И на трех шагах эдак кишки прихватило, что желался, пардон, уже присесть по делам, но так вот затолкался в самую живую середку, что осталось (напрягаясь, п-п-пардон, всей задницей) глазеть кой-как через колышущиеся (то девчонки все подпрыгивали, подпрыгивали, подпрыгивали, от чего ще больше мутило!) головы, головы...

А ристалище начиналось.

Первым Левит, забывши слегонца роль, воздел/обнажил бицепсы к небу и возопил истово: – О, дай мне силы, Глах! – на что толпа живо отозвалась ободряющими непристойностями. Ну, как непристойностями? Без базарных словесностей, все-ж-таки эльфы-эльфы, но актерское величие соблюдено не было! На миг забывшись о животе, опять я подивился: эльфы были что разноцветные луковы и луковки! Вот ты первую одежду отреши мысленно (как Элизер учил), а там уже другая вовсе! То мистерии, а то народные радости! Как будто семь душ у них, и согласно *état de choses* (бишь, положению дел) нужную накидочку легко вытаскивали на божий свет!

Подобрав камень размером с голову откормленного жерт-

венного бычка, воссоединившийся Глах-Левит гикнул зычно и от-плеча-да-с-разворота киданул тяжесть вдоль узкого ручья, сейчас знаменующего былую Невицу. Ах! Аж земля грязью брызнула, когда ударился булдыган о ейный бок, и будто поежилась, и откинула божий дар дальше в русло, где камень и встрял после рассерженных брызг и неловких переворотов.

– А-а-а! – гордо возопил Глах, колотясь в груди́ну кулаком. Там, видать, чтой-то было поддето, ибо громко зазвенелся медью, как и положено пафосному протагонисту! Но толпа, что гадать, болела за крашеного Короля и заропотала беспокойно: ах, бросок Левита вышел куда неплох! сможет ли Король? Рыжебородый парень тоже кичился мускулом (к некоторой ревностной досаде, покрепче моего), но до силача Левита – ах, точно было как до Глаха! Как же победит?

Король-актер и сам развел трикратно руками и потер бледный лоб и демонстрировал некое смущение (ох, дурень, а зачем вызывался?), но поколь Левит гордо окруживал сцену, ритмовно молотя себя по медному чревосплетению, красавица-плутовка-Метара (ах, выпроставшись от мужа во всю длину золотых кос!) подскочила в два легких шажка и чтой-то подсказала герою. Ах, как хотел бы я быть там! Ах, как шельмец просиял! Но все же задача бышилась хитра и долго сей избранник, уже подняв каменец над напряженным до вен плечом, шурился и чуть покачивался и примерялся, выставив левую руку к озеру и как бы задавая ей будущую нить

полета, и вот! Разочарованно охнула стогласая толпа: каженно, не долетал Королевский камень даже до первой тяжелой вмятины во склоне! Но ааа! Ах! Ах! Как же хитро! Ибо все рассчитал Король! Ибо не в мягкую землю колыхнулся его камень, а не долетев хотя, и левшее бысть, но чирикнулся в старинное каменистое ребро склона и щедро отразился в небо, чуть подправив линию, и – ха-ха-ха! – точно шлепнулся Глаховому камню по загровку и ще дальше по ручью прокатился ловкой припрыжкой!!!

А-а-а! Толпа ликовала и обнималась тут же на все стороны, и эльфы все выскочили на сцену, и самого расцветшего лицом Короля подхватили и чуть на радостях туда же в серебряный ручей не сбросили... ще ведь не просто представление было, а гадание о судьбе всего ихнего народа!

Ну а я, вовсе неможась, растолкался-поскакал скорей за сцену за мужскую загородку и ооооох! тоже восторжествовал над ручьем. Хорошо ще, что мужское отхожище так было рядом, девичье-то у другого ручья, так бы иначе – ох, не добежал бы! Оооох радость-радость!

И так уже из-за загородки понимал что-то с пятого на десятое (гм... поносному? ах, тьфу! победоносному!) сквозь радостные клики и возгласы:

– Позволишь ли будущность народу моему? – нарочито приниженно лопотал победитель (так и чудилось: до дыры протеребив знамую кулаху). Поневоле ревновалось: и что вот Метара в нем нашла?! И громыхалось в ответ: – Ах, ры-

жебородая проказа! Так вот и мое пророчество: по камню твоёному победоносному пусть и муравействуют! Но когда докажешь мне без хитрости, что равен богу, егда изымешь Метаров гребень из хрустальных вод, тогда и царствуй! А дотоль...

Толпа неистовствовала и пела от радости, слышимо объединяясь в огромный эльфийский хоровод. Вся их жизнь и распорядок были в сей легенде! А дотоль (это от Клевина и знал) – говорил Глах: дотоль не будет у вас королей, но только звездные королевы, и вечным кумиром благодарят пусть жену мою светлую, Метару мою, за ваше спасение!

Ох...

(Ох, всё дорасскажу, други мои, дайте лишь промочить горло нашенским дубелем!)

Ох... Цветастый был праздник! Ей же ей!

Но потом – пришел удивительный сон. Как будто боги или кто вывернули меня абы перчатку и мне же (губошлепу!) показали нежное естество мое, скрытое обычно за огрубевшей кожей. И я морщился частенько, когда воспоминал через годы: как истолковать сию историю? Элизер внушал мне однажды, что дни наши суть букет попавших под руку цветов, которыми мы наслаждаемся в пути. Но вопрос (и крепко помню его грузный шаг и скрипящие половицы): *jeune ami*, цветы ли манят тебя в заповедные края или столбовая дорога случайно проводит мимо? Ах, старик вечно изъяснялся

загадками, будто говоря со сфинксом! А был я все еще юнец (что и видно по смятению сна моего, перегруженного красками и запахами), – юн-юнец, не осознающий стези своей, но полный бесплодных мечтаний и надежд, как бывает полон немymi зарницами августовский вечер. Но как далеко еще до настоящей грозы!

И потому вопрос вам, *mes chers amis!* Учите ли еще лийонский сонник, *l'interprétation des rêves?* Так вот вам то ли явь былинная, то ли сон беспутный от юношеского впечатления. Этакий цветочный *pūbertās!* Пardon за мой латейский! Нарочито излагаю подробнее, дабы почувствовали его колдовскую волокиту, аки черемушный связ. Знамение или бред? Фантасмагория или пророчество? Аль и впрямь мог всю судьбу изменить и убежать с эльфийкой?!

Ибо:

Облегчился, подмылся в прохладном ручейце – и на раз полегче стало. И даже, по веселой толпе пронизываясь, обнял восторженно какую-то дивчину (будто бы знакомое личико!) и закружил бережно, на манер Глаха в спектакле, и расцеловал в макушку, и рассмеялась она и ой-же зажглась очами! И даже, на минутном душевном подъеме, еще с перешагнутой скамьи чью-то кружку эля радостно хватанул – с гречишной горчинкой! – и радостно губы обтер, и хотел, может, поболтать с Левитом (да куда-то делся с глаз) или Пертиком (но так до поста их и не дошагал). Еще загляделся

было, как актер рыжебородый возится с восторженными де-тишками-зеленцами и подкидывает мелкие камушки, чтобы вскакивали от каменистой стежки прямо в Глаховы палаты! Даже сам на корточках присел и тожно пару камушков подкинул неудачно – отлетели-то, да не в радугу, а вообще, как говорено, куда-то по грибы! Ха!

Но потом не заладилось: как привстал, так и севши обратно. Голову бо будто полуденным солнцем опять-на-ять вда-рило, и закружилось все живое вокруг разноцветным хоро-водом, а поверх хоровода черные точки, аки мухи знойные, да и зажжужжали по ушам. Ну, на карачки сперва, но как-то (мерси молодой сосенке побоку) привстал, не при мальчиках же блевноваться... по косогору уполз обратно за мужскую загородку, выдохся там изрядно. И после добрел кое-как че-рез эльфийское чрезмерное веселье до выделенной хатки и совсем затупился спать.

Но поначалу не спалось: зельно мучился брюхом и по нестроганой скрипливой койке (будто сучок сомнения по-середине? глаховы плотники!) так и крутовался, будто в бе-ленушном дурмане, не находя покоя обоим бокам. И пом-ню, как закатный свет от пузырячатой глазницы (ну, бычьим желудком затянутой) все бился в очи, как ни ерепенься, но потом стемнело и забылся как-то, только через воздушную щелку (как бы наш коголанский *vasistas*) тянуло горьким вол-шевейным дымом от ближней эльфийской гулянки. И лежал и вспоминал праздничную королеву: была в зеленой про-

зрачной хламиде, и все ее нежности солнечно просвечивали, и была она как весна и туман, как расцветающие почки, ждущие медоносной пчелы... ах, все глаза послушно следили за ней!

И потом – глазница будто, уф, превратилась в сказочный гадальный круг и мерцала звездами, и звездные камешки будто даже двинулись в ней, но потом... Луна ли выглянула? Ах! Або омут серебристый наливается золотом, впитывая солнечный цвет, так и засветился в округе девичий лик, и теплым летом повеяло прям-насквозь, и Луна уже гостила будто в клетушке, полная любви и лукавства. Ах, Эйла!

– Позволит ли вторжение мой гость? – прошептала мягко, бо ночная птица шелестнула где-то в воздухе. И не крыло ее шелестнуло, но сам безвинный воздух исполнился восторгом и сиянием вокруге ея. Ах, божье существо! Да как бы мог я отказаться, ибо не мог я и вовсе ответить, как будто и не бился голос в пересохшей гортани! А была она невысока (но в клетушке и не вытянуться, и стояла сия королева, как постельная дева, сама на белых коленях у грубого ложа моего), и светлое круглое лицо... хотя и без короны ныне, но косы раскинула за собой, будто искреннее полотнище ночи... сияла не голубой Луной нетрожной, а теплым белым отражением, а звезды – ах! просто ярkokрылые светляки! – только искрились насмешно (али ласкостно? поди ее пойми!) в узких ее подведенных очах. Ах, подведенных синей сурёмой

так, что казались – бо иллюзорное море сапфировых разноцветий! Куда глянешь только и забудешь, куда ты плыл, кого искал, но знаешь, что все нашел.

– Позволишь ли оказать гостеприимство? – ах! Каждая фраза ее сбывалась в полумраке хатки моей как созвездие, распахнувшееся на полнеба. Каждая буква-звук будто мерцалась и сиялась сама-в-себе, даже самолюбовалась во хрустальном своде, как в обыденном зеркальце! И говорила Эйла будто быстро – но время! Время будто разворошилось в неведомые меры, и на каждой-каждой мог я задержаться, как король из пьесы, – и вздохнуть на Цветочной Горе Мира! И наслаждаться этими неземными выдохами ее, покуда не зазвонят, не разорвутся плевры в груди, переполнившись ейной музыкой. И каждый ейный глас, будто цветастого птенца, мог я выделить из стайки и вслушиваться долго... (И вспомнилось ни к селу ни к лесу – *sans rime ni raison!* – ещё назидание Елизера: слова наши, Гаэль, суть смешные несмышлениши! И неведомо им, что каждый из них – лишь часть лукавой фразы. И как боги играют с людьми в любовь и ненависть, перебирая до дрожи наши кости, также можешь и ты выбрать лучшие голоса и перемежить в ночном воздухе и новую гармонию возвеличить!)

Но, Глаше мой! Ах, скоморошище зеленушное! Поэт многословия! Что же не скользнул непутево к ней, не потянулся влажной ладонью до ее лилейных колен, не утопился кудлатой бедовной башкой в ее летнее лоно?! Ибо да, надушилась

для меня там, внизу (ах!), и явственно веялась ивовой водой и сладостной лавандной отдушкой!.. (А запахи эти я помню, ставал славно, ведь была когда-то и другая девушка, так же желавшая благодатствоваться перед любовью, и я тогда – ах, весело помнится! – шарлатанством добывал ей сии *ингредиенты*! Ах, как же резвились мы на воскресном лугу!)

А королева – ах, королева сияла летним вечерним огнем, и каждый завиток ее кос стался как маленькая живая радуга, вспоминающая все свойственные цвета... и зрелые губы, грушевым спелым ароматом манящие, которые хотелось бы кусать, и так бысть она сладка и трепетна и нежна на языке! Но лицо её было круглое и вечное, и ложные звезды в глазах зазеленевших кружились, уводя за темный горизонт, и говорила что-то, сказочные какие-то слова, но кто будет разуместь словеса, когда каждый вздох ее фантазийного существа – вечная музыка?

– Сиречь, милый мой гость, – пела она, – ты зеленый мальчик еще, но будущее не так нам щедро, чтобы ждаться!

– Сиречь, Гаэллль, – говорила она мое имя столь музыкально, что сам бы я влюбился в себя! – ты весь еще будущность, весь еще почка грядущего ствола, потянувшегося к голубому сиянию пророчеств!

– Сиречь, душа моя, – миловалась низким, будто пристыженным голосом, толе сладким, что хотелось рыдать и разделить с ней слезы! – бо я та же юница, ах, ничто без тебя, запертое в зеленой чешуйке молочное зернышко, ждущее тво-

его языка!!!

А я-то? Глазелся на нее, ошеломленный покрывалом переливчатого света вокруг... и кто бы знал, что букашки-светлячки могут вспыхивать, как человечьи цветы? Но сколь ни ласкала она ладошкой, нежа словом и делом, ни звала медуничным выдохом в парные ночные луга, а брненное тело мое ще млелось ленно на грубой лежанке, ще под тяжкими парами вязкого эля, и не мог я... А королева-дева – ах, позор мне извечный! – смешилась мягкоцветно, и губами ще нежничала, полная горячей отрады, и подбадривала, как сущего мальчика, лукаво снисходя к моей неможности. И я, ах, я почти утонул в энтих женских руках, в энтих розово-гречишных теперь (ах, все цвета радуги знала!) облаках волос, в энтих синевалых/зеленчивых глазах, то быстро взмаргивающих, будто речка на стремнине, то раскрывающихся недвижно, аже морская впадина, где жадные жгучие сирены-медузы ждуд отчаявшихся моряков!

И так я духом востщился, тако жаждал воспрять с узкой полати своей, что затрясся в великом усилии – но не брностью телесной! А вот будто духом и раздвоился нежданно, и нижней частью (сиречь, *астросомой*) позавидовал щедро, как земная плоть млеет под Эйлой, под ее цветочной силой, и вот-вот всколыхнется и отдастся уже безвольно ее ликующему естеству... А душа замешкалась: что же есть любовь? И сон – потерял будто вязкость и возвился прозрачными выплесками. Ибо возвился я над землянкой уже, бо эльфий-

ский живой дым, и видел ночные костры по-над праздничной деревней, но и через травчатые земляные крыши вниз видел любящихся эльфов: да, будто гнездящихся светляков! Тех, кто, как Клевин и Ларитта-его-Радуга, едва чувствуют первейшее святое прикосновение, и кокон их розовый светел, как незаходная заря, и других, кто годы-годы уже в златоситцевом коконе любитя, и третьих, кто столетия спит уже дружка-с-дружкой в темно-синем мерцающем покрывале! Ах, потому и зовут друг друга звездами! И ведал я все их имена и все их истории, но некогда-некогда было шас рассказничать, ибо ах как возбрзговалась чують собственное тело в пьяной отрыжке и всежные пряные ароматы! Ибо Эйла, да, чудеяствовалась как живой цветок, и кокон ейный был ох-многообразный, будто все пряные травы этого мира состязались в росте! И любисток (ах, венчик зари!), и душица (украшение гор!), и желтый фенхель, и сиренный шалфей... ах, и все нацветались на мои телеса и обволакивали угарно, и душа испугалась столевластной сладкой неволи и искала совета!

И здесь... здесь точно был уже сон, а не былъ. Думаю так, ибо больно уж переливчато (хотя и чуюлось во сне пуще яви земной) закрутилось все в моей голове! И душа – бледная голубка! – кинулась сколесильно ввысь, задев бо со звоном Лунный щит (ах, что за музыка!) и замешкавшись на миг в белых полотняных облаках, Метаровых тайных покровах, но выпросталась и... и уже я был на былинной Горе Мира, и

там рыщился по белооблачным палатам, по крашеным голубым горницам, заглядывал в каждый кут душевный, и вот-те нашел кормилицу! Ах, как и не пропадала: бродила по внутреннему садику с жестяным ливером (ну... эдакий *agrosoir*, чтобы воду из бочки набирать, чмокая ловким мехом) и все судачила судьбу: дескать, все мы сутью цветы, как вот ее любимый шпажник на круглой грядке. Конешенно, улыбалась через сон с верительной шепелинкой, нужно и заботу ея доверчиво принять... и плеснула на гаревую дорожку из волшебной лейки, и в минутной лужице увидел я, будто отраженное солнце, прекрасную деву на заре мира. И когда глаголю, что пуще яви земной мнилось мне сонное мое путешествие, то так и есть. Ибо даже ныне, на трезвую голову, – каждый кончик всякого золотого волоса сей девы мог бы на портрет ее поместить яркой радужной блеской: этот веется легко, как тычиночная нить желтой астры, и самый кончик шелестится едва-едва, будто богатый будущей пылью; а тот свернулся колечком, будто свадебным, и жениха ждет; третий же прячется стыдливо среди сестер своих, точно спелый августовский колос, готовый к расплоду. А полное описание вышло бы в роман на 700 пергаментов! Но дева... будто вострепелась моему присутствию в сей сказке и подсказала живо и ярко, даже покрасневшись: Гаэль! Назови имя! И вот ах – ах, что за совет да на пьяную мою голову, и какое имя, и какое имя?

Но как-то (губошлеп!) восселился душою обратно в глу-

пое тело – и опять почуял: жаркие губы, нежные белые пальчики, почти прозрачные, которые хотелось бы каждый-каждый – по целому дню лобызать и любоваться сквозь них на вечерний свет! И глаза ее, полные желанности, и почему зеленый мальчик, если уже норовит ложиться со мной так откровенно? И хотел (телом) призвать ее по имени, ожидая, что откликнется воскипевшей кровинкой, и будем мы в многотравных Элизейских лугах, а я – ах, по капле соберу нектар с ее душистого тела, и затем... затем сам изольюсь я любовью, белой и густой, как башенное облако, обнимающее зеленую вершину!

Но как-то воздуха сбылось мало в келье, после неба-то высокого, и за... задыхался. И пока ворочалось глупое тело мое, набираясь земного голоса, успел я на высшем языке души выкликнуть имя золотой небожительницы из волшебного сна... Ахх! Эйла-не-дева отшатнулась и ошлепнула по неподбритой щеке так, что сама ошершавилась, что звезды испужно задрожали на другой стороне неба! И черным тленом выщербилась изнанка ее кокона!

– Ахх, – прошипела безгласно, – ничтожество, слабак, смердолюд. И кое пророчество божется воскреснуть в сем бесполошном теле, и на что повелась, и на сильфиду вечную бывает проруха.

И пряможно – как поверить? и зачем спасала другой раз? – плюнула на плевры мне черным жабым отвращением, бо болотным ядом прожгла, и истратилась в ночь, и только

холодом потянуло через лопнувший бычий пузырь.

Или нет? Нет!!! Я будто живым криком зашелся, не желая терять нежную галлюцинацию... и она (ах, женщины такковы!) будто вернулась понасмешничать:

– Ах! – зазвенела нетрожным колокольчиковым смехом, почти стыдливым, но толь пронзительным, что и пузырь на продыхе лопнул звонко, и на околице где-то все колокольцы подхватили хохот (али то эльфовы хороводные гимны?). – Ах-ах, не мила! Ну так выкрещу глупое имя твое из глупого сердца!

И, правда-правда, будто ли выдернула из нагого своего тела светлый лепесток и бросила на перси мои, и канулась в темное небытие, и только лунный лучик рисовался холодом по моей груди.

Или-или-или... Бесконечный сон так и тщился в моей голове скриповатой детской каруселью (ах, где же так катался, на какой ярмарке?). И так звезды ще дрожали-ныли по всем семи-на-десяти небесам, что ещё-раз-ещё-раз-ещё все повторилось, будто бесконечным горным эхом. Или же, поверилось мне: как выбирал я в детстве фигурку на карусели, так и здесь возможно выбрать любо-любой из коловратных миров, дрожащих в воздухе серебристыми клубками (потяни толь!), и каждый сбылся бы правдивой историей? Кажут ли эльфы, так и бывает во дни равноденствия? И пожалел ее, так стыдливо влюбленную спасительницу мою! Сладкий самый исход выбрал, где будут еще часы наших встреч! Юнец

и зеленушник!

И засмеялась Эйла-любава сладко-гортанно, так что дрожь-боль по вискам. И озарила комнату вспыхнувшей наготовой. И самыми щепотками пальцев и нежными ноготками их, выкрашенными в живые цветы, коснулась немеющей щеки:

– Ах! – шепнула. – Ах, мой Гаэль! Ах, дурачок! И что ты веришь пустым богам и в пустые пророчества? Но вырасти, мой мальчик, и ще будет нам нежное время.

И ще лобызала горячливыми губами грудь, где под сердцем сплетение всех снов, и так крадко-крадко там заняла кожа, как будто слюнцою борщевика мазнула, и так возгорелся ожог, что не забудешь её никогда! И исчезла, завернувшись в цветастый кокон свой, завертевшись в белую бессоницу... ах, не к рыжему ли актеришке? ах, досада моя!.. и остался я глупцом в слепой темноте, пока возвращался взор, и только – правда! – веялось прохладцей от пузыря, видать, и правда лопнувшего.

8

Ах, господа на галерке! Не переживайте и не протирайте зря последние камзольные штаны! Вижу и сам, что бьет уже прямой луч через золотой витраж, возвещая обедню. Поспешу и я закончить первую часть моих приключений без излишних словесных выкрутасов.

Утро вышло пасмурное. Не на небосводе даже – там бледное светило пробивалось кой-как осквозь беспорядочные перистые пряди, а вот в голове. В голове было как-то пусто-вато и как бы кисло пахло, ажно в капустовом амбаре, растратившем к весне все перепревшие запасы. И весна – нынче тоже *гёзила* (ах, *gueuze*, так эльфы вчера называли свой напиток): щипалась на языке вчерашним тригороклым элем, даже пожевать ревеня не помогло. И Левит, который один из побратимов остался, тоже плотной бородой притерся, когда обнялись на прощание, и так дыхнул дрожжами, что хоть топись. И еще щека как-то жалелась-горевалась, где Эйла вчор касалась пальцецветиями, и грудь ой ныла... ах, и правда ли всё? Но дюже было тошно, как бывает от душных цветов, пускай и во сне, – и все нутро постыдной отрыжкой жглось, что забыл возлюбленную Летту во всем этом балагане и ночном бреду. Губошлеп и зеленушник! И завтрак не стал даже искать!

Только Алтей признал-порадовал, пока взнуздывал на пустой конюшне, – упряжь и седло почищены до свежего кожного запаха (воинского запаха!), но вокруг никого, даже некому мерси буркнуть. Ох уж эти эльфы-бражники, были и сплыли! А не-не! Вон по холму развеялись пестрой цепочкой, во главе с неторопным Левитом: засевают вчерашний вытоптен (ну, где бревна-сидушки, и где сцена была)... ну надо же, радетели.

Так вот... Так вот Алтей покосился карим глазом (то ли ячмень на веке? надоть промыть у речки!), лизнул руку языком в поисках сахарного осколка, а нет сахара – так и еще раз, просто по дружбе, и полегче стало.

Путь запомнился отрывчато очень. Где у реки голая земля солнечной коркой пятилась – зело дрем-трава уж густо разрослась! Где с волками бился у перекатов (то ли место? и костревища во полевице не видать!) – там промчался днем, разбрызгиваясь лихо... подивился, остался ли кусок души моей у журчицы сей до смерти ночевать, на скаку махнул рукой по-над воздуху, но не почувял ничё. А Алтей вот пофыркал что-то!

Еще – подбил молодого русачка. О, сие смешно было: серые-то разговлялись на лужнине с диким щавелем, но пугливые! Так пришлось на вязень забраться и ждать бережно – так и высидел на теплой ветке, пока первый дурак не забылся и не высунулся ушами. Ну, другим наука! Еще – третий вечер спал-то под елью, завернувшись во плащец. Все

ничего, да толь к заре муравьи напоззли в штаны всей деревней (муравейник ли затеяли! ха!), замучился у ручья пощеваться...

Но так и предвещал неладное (бормоча всю дорогу проклятия и погоде, и природе), так и знал: Элизер зачем-то встречал у безлюдной сторожки на границе леса – в богатом уличном халате, никогда на нем не виданном, да в яркой скуфейке, и все понятно стало.

Спешился просто (а толку в показухе?) и выпросил усталое, без сердечного приветствия:

– Что?

– Видишь ли, как сошлось, mon ami, – старец начал что-то вырешивать, прерываясь одышкой, но я сам прервал его почти презрительно... и слова будто держались в воздухе между нами, как редкие перистые облака между небом и землей:

– С кем же ушла?

Хотя и тошно признавать, а чему-то все же волшебник научил. А именно: не толочь в ступе пустые слова, не лишать вкуса единственное сущее слово, хотя и горестное! И когда от мага самого, против учения и от виноватости его, множество слов разлетелось мотыльками – почти я потерялся разумом, отвлекаясь на клеверный запах с лугов, слишком щедро Ее напоминающий, на шебуршащихся в липовых пястях скворцов, нежных Ее поклонников, даже на вкус колосинки, что сорвал вот бездумно и нявжил в зубах, напомнив-

шей терпким праздно-летним букетом вкус Ее губ... и так перескакивал, сам как скворец, от ощущения к ощущению, но везде Летта ускользала от меня. А все те словейства, что Елизер говорил и что я не слушал, – впитывал будто кто-то другой, кто быстро-кратко потом чевствовал (чевствовал! ха!) мою корзинку знаний сими горькими фруктами. Как там Элизер учительствовал? Мол, вот ты нежишься, как пчела на сладостном колоске, но шагнет мимо Глах или даже божий прихвостень его и выдернет (ах, как сам сейчас!) ту колосинку, и хорошо, коли просто отбросит тебя, не глядя, в дальний горький куст! Боги таковы!

– Видишь ли, *мон ами*, вышло пять неделец как ты странствовал...

Ах, Глаховы идолы! И Эйла-потворница! И Элизер – ну что морочит?! Все же знал самовластный словоброд наперед и нарочно в эльфову мякину макнул, где часы как дни! Часы Любви! Три раза ха да с вороньим хрипом! И Летта моя, – конечно, заскучалась в девицах и поехала красоваться в город и попалась Раваху на глаз, и замутил ей черный маг голубые очи... ах, да зеленые ж! Зеленые!!! Вот и как мог сам все забыть? Ах, трепло-Гаэль! И опять горло горечью зажилось... И на той неделе свадьба... и Элизер, все дыша сладкой одышкой, пахнувшей чайным квасом, протянул мне от сердца теплый еще медальон и насильно вложил в ладонь не пойми зачем:

– Ежели поймешь, *мон ами*, что добрел до края света...

что не на топтанном распутье стоишь, а во болотине или поле ковыльном... где все вокруг мертвой дымкой кроется, то открой и зови старика!

Ах, что за вечная мура! Боги таковы! Да просто – променяла глупого дружка-парнишку на богача-магача, как всегда и желала! Ах, и дуралей же я впрямь был, что не отдался Эйле! Или и то сон дурацкий был?..

И только Алтея поцеловал в добрый карий глаз и шлепнул по задцу, чтобы к Белке-любовнице мчался красавец (ибо брыкался уж и голосил по-своему), а Элизеру-магу – и почему же не воспротивился? кишка тонка против Раваха? – да плюнул под сапоги сафьяные (новые тож? хах!), да развернулся и пошагал в город пустым (хотя обида – тоже груз изрядный!), и амулет сей незалежный за первейным кустом раскрутил и в густой синими люпинами овраг выкинул золо-тою искрой.

Ах, не дуралей ли сам Елизер, чтобы о солдате беспокоиться! Ловкому парню и стотинки сами липнутся! Шелся вот мимость свойного лагеря воинского – и расхотелся гулко, опять вспомнив шпорные подвиги свои, ажно тяжелого черного ворона спугнул с окраинной осины. По старой памяти так и двинулся вдоль кривастого забора, аж насупленных часовых подовздорил (незнамые оба):

– Утречко! Как служба, злыдни?

– Дать твою-то тать...

– Да звиняйте, не бздитесь. Будто я говора не знаю! Вижу же, бо повязки наградные. Сам-то вожжевой, но с северного лагеря. Гэлька бо Франк у вас тут служит – повидать бы... То кузен мой триродный, мамка завещала приглядеть...

– Дать твою-то вожжу тать... Погоди-ка, Гелька Франт, ась? Погоди-ка, что-то вертится. То ли сгинул, то ли в розыске. А! Маврос что-то бачил, хрен капустный. А? Ну ржем так – бо в капусте всю ночь шельмовался. Сам-то что ты есть... серж бы тебе растолковал искальные грамоты, пожди чуток... Эй!

– Кажу же, сам служивый. Да чтоб я сержа вашего вертел! Но вам, братцы, мой комплимент!

Расхохотался и удрал побегайцем, знамо что пост не бросят (бо серж-то явится проверствовать вот-че-вот – кто же ныне серж, аже занятно!), и за углом забородки так и подобрался к кузне. Ну ничё не изменилось! Ах, криволапы! Те же дощи неприбитные, та же внутри-то кучица ветошного хлама, как нарочно для удобства оземь сподобиться, и даже подковы бо заботно для меня в две котомы сложены! О! Ах-ха-ха!

Разве что... разве что паучишка майский успел мой лаз переплесть и порвать пришлось. Так умный следопыт и углядел бы, откуда беда, да поди и не понадобится уж?

А на рынке все тот же скупщик – но что-то зарябившийся дряблой ряхой (ах, позже понялось!) – но тожно дурдей пытался нахитрить. Вот же глашник, думал вовек юнцом кич-

ливым останусь! Как подковы тусклые в Раваховых укладках увидал-то, так и раскраснелся всей ряпушкой и пошел фальшиво напевать на вы:

– Ахх... ма-астер Гаэль! Прямо воскрешение!.. Али липового чайку с анисовым дыхом? Золотой, золотой товар! По весу ли возьму? Ах, сладимся! Но извольте подождать, немасть при се мерила, сей миг сгоняю! А покасть вот и стоопочку...

– Постой-ка, хрен рябой! – а да вот так с горьким хрипом!!! Во глуби души (где любовь-то закопал) я сам ажно удивился, что зло так выскочили слова, не в шуточку, а бутче бритвецей по выпученному глазу, и мечец-молодей так рябому в глотку сам и подоткнулся и на солнце заблестел! И весело добавил с подковыркою: – За зеленца ли держишь, шкура ты анисовая! Щас те сам за штанцы вон на входе перед зеваками подвешу-отымаю до крайнего лева, да еще и пазуху твою гнойную воскрою на крайняк, вдруг ли сожрал пару злотенцев со страху!

И вытряс свое, и еще довеском – ну, за грубость начальную! – забрал из дуралейского кармана затейный авентийский пропуск. Медная будто монета, но с цеховым торгашным символом. Будто-то от купцов, от заморейской вареолы давеча померших – о, вот как дела! покаль у Элизера учействовался-то по волшебным сладким садам! – от купчиков пропуска годовалые остались, то вот не изволит ли мессир Гаэль задешево? Ах-ха! Вот слава дезертира! Мессир Гаэль

всегдашь-карась изволит по дружбе бескорыстной принять сей дар, а ежели твоя рожна, оспой опечатанная, затеет кому-то вякаться, так ведь мож и за прошлое всю подноготную испытать, сколько герцогских подковок распродал, по игле за каждую! Ха!

И шел-шатался через рынок к торговой гавани – думал домой двигать. Ну, к дядьке в Коголан, а что же думать-то долго? Не худшая судьба! И пока жевал курью кулебяку на ходу (да с жареной печеночкой!)... слышал со всех прилавков (аах! вот жирец потек по щетине!) говорок народный про давешний щербатый мор. Мол, опять Метара-хранительница разгневалась на чтой-то и порвала золотое ожерелье свое и кинула на обидчиков! – и герцога-то Раваха не помиловало, всю семью его выкосило подчистую с двумя сынами-молодцами (ах, орлы! отлазились голубейкам под юбки-то!), да ужель убоялся? Бородой-то и поклялся вечно жить и соблазнил уже молодую знахарку из Фанума, и старику-лекарю, что вместо отца ей быш, велел на бедняков лечений не тратить, и ох это не к добру и т.д. и т.п. Сколеразно слышал чуши, но правды не искал: ясно бысть, что свадьба через неделицу, и важные приготовления кажутся уже на лобной площади, и даже герцог выписал ямным должникам вольную по мольбинке бедной той невесты. И заместо вонной той ямы – подумать ли? – будет гостям ларек с фруктами-угощениями!

Да и – ну что? И катиться ей смоквой надлопленной (ха,

словечко!) да под горку! Кто же падежное-то подберет! А вот... Ах, я всерьез задумался, к Катинке мож? Тоскует по-ди...

Но тут – сердце, охлаждающее всю дорогу от эльфов, эдак вдруг кровью горящей дрыгнулось, забилося-таки, и звон в ушах, и закачался посреди лотошного проулка. И все глупости, что тогда переживал-стихотворствовал, все как мошкара загуделись одновременно, ах и ах. Белизна чела? А? А ну и Катинка рябая, и что я буду делать? Ах ты...

Ах, тьфу! Жизнь была как погода: то лужа, то песочек сухой... Так и зашагал, ярче пыля сапогами, искать-таки купца в дальний Коголан, но на площади (где и впрямь к свадьбе колотили/правили что-то, ажно дюжинцу разбойничих голов вывесили на пики мухам на потеху, – а вот не должников ли тех ямных? ха!) увидел же ту, помните ль почтенно, Эли-Пирси вывеску с золочеными буквами в фигуристых платьях? И вот где ах-магия! Буквы – ничуть за эти дни (дни ли?) не поржавели и не поседели, и лицами не порябились, но – странно! очень! – будто поменяли позы, будто продолжали свой вековечный реверанс.

И тако захотелся в сей город белокаменный, где толь красивые недоступные дамы прозябают на балконах-вывесках, что шибко развернулся марш-кругом в центре деревянного пяточка площади и давай обратно по авентийскому тракту ко всем собачьим выселкам. Ах! Элизер (будь он рядом) спросил бы обязательно, отвлекшись от пыльных талмудов и бо-

лезненно прищурясь: и куда же, *jeune ami*, ведет эта дорога и эта книга жизни? Но я все еще злился на него... Но ответил бы, пожав плечами (нарочно раздражая): знаю ли и сам, но это только начало!

И ни о чем не жалел, ни о чем не думал, только дожевывал как-то прибранное на рынке яркое яблоко... да не волшебное ли, откуда им по весне? И будто нежный смех Эйлы услышался в воздухе (и ще будет нам нежное время!), и потому остановился нарочно там, где белые щербленые ступени, где милая девчонка когда-то кормила меня, дурака, сладкой мякотью, и дожеввал за обе щеки (вкусное! что же пропадать!) и метошно запустил огрызком в ворота храма Феи.

И – будто ворота скрипнули за спиной? Но не обернулся, и продолжал шагать.

От автора

Еще раз – благодарю всех, кто дочитал до конца. Разумеется, приключения Гаэля на этом не кончаются, герой еще в самом начале Дороги Славы. В следующей книге, готовящейся к публикации, он заслужит некоторое уважение среди стражников Авенты и окажет великую услугу юной принцессе:

И так, – и какой всевеющий мудрец предсказал бы сие, когда я беспечно проснулся несколько курантных звонов назад, взирая на сонящих в забытье блаженных собратьев?! – так мы поковыляли вверх по переулку... и за нами бежала толпа и что-то кричала, и перед нами разбежалась толпа и что-то кричала, и воробьи/голуби порскали из-под ног и разлетались по солнечным лучам, будто по веткам, и так мы ковыляли бесконечно вверх по мощеным переулкам к Мареницеву дворцу: я, Гаэль Франкский, бестолковый искатель приключений, попавший в этот переплет из-за детской выпивки пару лет назад, и принцесса Летиция Авентийская... нежная как восход авентийского солнца, гибкая как расцветшая к осени авентийская ветреница, сладкая как порыв авентийского зефира, и терпеливо вела меня по косогору ввысь, будто звезда, ведущая месяц в хрустальные палаты, и сама-то поддерживала меня под железный локоть, ибо и плечо отнялось, отдавая болью при каждом бульжженном толчке; и та

животная рана будто приоткрылась под латами и свербела с каждым толчком сердца, усердно бившего в уши, и нога работала плохо, скользя то по вчерашней картофанной кожуре, выброшенной щедро из трактора, то по сейчашнему элевому ручью из пробитой кем-то на радостях бочки, и я оглашенно хромал всю дорогу и сопел, и утирался простолюдно, краснея от стыда, и крапал-кропил мостовую кровью от разбитых зубов.

И, конечно, я был бы рад вашим отзывам и комментариям. Найти меня можно В Контакте на странице https://vk.com/public_thekingoftheelves

Спасибо!